

БОЛЬШИЕ  КНИГИ

Исабель
Альенде

ДОМ ДУХОВ

«ИННОСТРАНКА»

Иностранная литература. Большие книги

Исабель Альенде

Дом духов

«Азбука-Аттикус»

1982

УДК 821.134.2(8)
ББК 84(7Чил)-44

Альенде И.

Дом духов / И. Альенде — «Азбука-Аттикус»,
1982 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-23295-2

Исабель Альенде – одна из наиболее известных латиноамериканских писательниц, увенчана множеством премий и литературных званий. Начиная с первых романов «Дом духов» и «Любовь и тьма», литературные критики воспринимают ее как суперзвезду латиноамериканского магического реализма. Суммарный тираж ее книг уже перевалил за шестьдесят миллионов экземпляров, ее романы переведены на три десятка языков. В 2004 году ее приняли в Американскую академию искусств и литературы. Одна из самых знаменитых женщин Латинской Америки, она на равных общается с президентами и членами королевских домов, с далай-ламой, суперзвездами и нобелевскими лауреатами. «Дом духов» – это волнующее эпическое повествование об истории семьи Труэба. Здесь все реально и все волшебно, начиная с девушки с зелеными волосами, наделенной даром ясновидения: реальный пласт с уютом семейного дома, жизнью многострадальной страны, политическими бурями и тяжким трудом, стихией бунта, доверием, предательством, расстрелами, пытками, судьбой Поэта, за которой просматривается история певца Виктора Хары, и отражение этого зримого мира в волшебном зеркале предчувствий, роковых предсказаний, безумной страсти, которой не в силах помешать даже смерть.

УДК 821.134.2(8)
ББК 84(7Чил)-44

ISBN 978-5-389-23295-2

© Альенде И., 1982
© Азбука-Аттикус, 1982

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	27
Глава 3	44
Глава 4	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Исабель Альенде

Дом духов

*Посвящается моей матери, бабушке и другим удивительным
женщинам – героиням этой истории.*

И. А.

*Так сколько живет человек? Тысячу лет или год
один?*

*Неделю или столетья? Сколько времени он
умирает?*

Что же вечности хочет сказать он?

Пабло Неруда

Isabel Allende

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS

Copyright © Isabel Allende, 1982

All rights reserved

Перевод с испанского Сусанны Николаевой

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».



© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство ИНОСТРАНКА®

Глава 1

Роза, красавица

Баррабас появился в доме, приплыв по морю», – написала девочка Клара изящным почерком. В то время у нее была привычка записывать лишь самое важное, но потом, когда она перестала говорить, она заполняла целые страницы всякими пустяками, не подозревая, что спустя пятьдесят лет ее тетради разбудят мою память о прошлом и помогут пережить мне собственные страхи. Баррабас появился на Страстной четверг. Он сидел в ужасной клетке, весь в собственных нечистотах, с испуганным взглядом несчастного, беззащитного пленника, но и тогда в нем угадывался – по благородной, королевской посадке головы и размерам крепкого костяка – легендарный исполин, каким пес стал впоследствии. Тот осенний день был тоскливым и ничем не предвещал событий, о которых писала Клара и которые произошли во время утренней мессы в приходе Святого Себастьяна, куда она отправилась вместе с семьей. В знак траура святые были укрыты темно-лиловыми тканями. Богомолки ежегодно вынимали их из шкафов ризницы и вытряхивали из них пыль. Под мрачными покрывалами сонм святых казался просто нагромождением вещей, словно ожидающих переезда, и даже свечи, ладан и стоны органа не могли сгладить это гнетущее впечатление. Темные силуэты угрожающе возвышались вместо привычных скульптур святых в благородных одеждах, украшенных рубинами и изумрудами из стекла, на чьих одинаковых лицах будто застыли следы насморка. Единственным, кого не задрапировали траурным покрывалом, был сам покровитель церкви – святой Себастьян. Зрелище его согнувшегося в непристойной позе тела, простреленного полудюжиной стрел и истекающего кровью и слезами, открывали взору верующих на Страстной неделе. Его раны, удивительно свежие благодаря кисти падре Рестрепо, вызывали у Клары дрожь отвращения.

Это была долгая неделя покаяния и поста, когда не играли в карты, не предавались сладости музыки, влекущей к неге и забвению. Во всем ощущались величайшая грусть и целомудрие, хоть именно в эти дни каверзы дьявола особенно настойчиво смущали грешную плоть католиков. В пост ели слоеное тесто, вкусные кушанья из овощей, воздушные омлеты и привезенные из деревень огромные сыры. Прихожане вспоминали о страданиях Христа, стараясь не соблазниться даже самым маленьким кусочком мяса или рыбы из страха перед отлучением от Церкви. Об этом неустанно напоминал падре Рестрепо, и никто еще не посмел его послушаться. У Божьего слуги был длинный перст указующий, дабы всенародно отмечать им грешников, и язык, натренированный в пробуждении приличествующих моменту чувств.

– Ты – вор, укравший церковные деньги! – кричал он с амвона, показывая на кабальеро, который смущенно закрывал лицо широким воротником. – А ты – бесстыдница, проституирующая своим телом на набережных! – указывал он на увечную донью Эстер Труэбу, почитающую Святую Деву кармелитского ордена. Донья Эстер удивленно поднимала глаза, не зная, что значит самое слово и где находятся эти набережные. – Покайтесь, грешники, грязная падаль, недостойные жертв Господа нашего! Поститесь! Кайтесь!

Падре Рестрепо был знаменит своим безудержным красноречием, а также пристрастием к истязанию плоти, чему, однако, противились вышестоящие власти. Верующие покорно следовали за падре из прихода в приход. Они покрывались испариной, слушая описание мучений грешников в аду, вечного огня и крюков, на которые подвешивались мужские тела. С ужасом внимали рассказам об отвратительных пресмыкающихся, что вползали в отверстия на телах женщин, и о прочих пытках, упоминаемых им в каждой проповеди, чтобы посеять страх перед Господом. На чистом галисийском наречии священник, чья миссия в этом мире заключалась

в том, чтобы потрясти сознание нерадивых прихожан, описывал до мельчайших интимных подробностей самого Сатану.

Северо дель Валье был атеистом и масоном, но политические амбиции не позволяли ему пропускать публичные мессы, совершавшиеся по воскресеньям и праздничным дням. Его супруга Нивея предпочитала беседовать с Богом без посредников. Она совершенно не доверяла сутанам, испытывала тоску при описании Небес, чистилища и ада, однако поддерживала своего мужа в его честолюбивых парламентских замыслах в надежде на то, что, если тот займет место в конгрессе, она сможет добиться для женщин права голосовать. За это она боролась вот уже десять лет, и даже ее следующие одна за другой беременности не смогли лишить ее бодрости духа.

В этот Страстной четверг падре Рестрепо довел слушателей своими апокалипсическими картинами до предела возможного, и Нивея почувствовала тошноту. Она подумала, не забеременела ли снова. Она родила уже пятнадцать детей, из которых одиннадцать были живы, и полагала, что уже достигла возраста благоразумия: ее младшей дочери Кларе исполнилось десять лет. Она считала, что наконец взяла верх над силой своей удивительной плодовитости. Донна Нивея приписала свое недомогание тому моменту в проповеди падре Рестрепо, когда он указал на нее, заговорив о фарисеях. Те, мол, намереваются узаконить гражданский брак и незаконнорожденных детей, нанося вред семьям, родине, собственности и Церкви. Они предоставляют женщинам равные права с мужчинами, бросая вызов Божескому закону, который в этом пункте является весьма определенным. Нивея и Северо занимали со своими детьми весь третий ряд скамей. Клара сидела рядом с матерью, которая сжимала в нетерпении ее руку, если речь священника слишком долго задерживалась на плотских грехах, потому как знала, что это может привести малышку к ошибочным представлениям, далеким от действительности. Клара была очень развитой девочкой, она задавала вопросы, на которые никто не умел отвечать. Ее воображение было безграничным, что наследовали все женщины их семьи по материнской линии.

В церкви становилось все жарче, и резкий запах, исходящий от свечей, ладана и пестрой толпы, совсем утомил Нивею. Ей хотелось, чтобы церемония поскорее закончилась и можно было вернуться в их прохладный дом, посидеть в галерее папоротников, выпить кружку оршада, который Нянюшка приготавливала в праздничные дни. Она посмотрела на детей: младшие очень устали, сидели, застыв, в своих воскресных платьях, старшие слушали рассеянно. Она перевела взгляд на Розу, старшую из ныне здравствующих ее детей, и, как всегда, удивилась. Ее поразительная красота вызывала смятение даже у матери; казалось, она создана из какого-то другого материала, отличного от человеческой природы. Нивея знала, что девочка не принадлежит этому миру, еще до того, как Роза родилась, ведь она видела ее в своих снах. Поэтому ее не удивил вскрик акушерки, когда та окинула взглядом девочку. Роза оказалась белой, гладкой, без морщин, словно фарфоровая кукла, с зелеными волосами и желтыми глазами. Самое прекрасное существо, когда-либо родившееся на земле со времен первородного греха, как воскликнула акушерка, крестясь. При первом же омовении Нянюшка сполоснула девочке волосы настоем мансанильи, который обладал свойством смягчать цвет волос, придавая им оттенок старой бронзы, а потом стала выносить ее на солнце, чтобы закалить прозрачную кожу. Эти ухищрения оказались напрасными: очень скоро разнесся слух, что в семье дель Валье родился ангел. Нивея ждала, что, пока девочка будет расти, откроются какие-либо несовершенства, но ничего подобного не случилось. К восемнадцати годам Роза не пополнила, на лице не выступили угри, а ее грация, дарованная не иначе как морской стихией, стала еще прекраснее. Цвет ее кожи с легким голубоватым оттенком, цвет волос, неторопливость движений, молчаливость выдавали в ней жителя вод. Чем-то она напоминала рыб, и, будь у нее вместо ног чешуйчатый хвост, она явно бы стала сиреной. Как бы то ни было, девушка вела почти обычную жизнь, у нее даже был жених. В один прекрасный день она выйдет замуж, и тогда

ответственность за ее красоту перейдет в другие руки... Роза наклонила голову, луч солнца пробился сквозь готические витражи церкви, в короне света обозначился ее профиль. Некоторые повернулись посмотреть на нее и зашептались, как это часто случалось. Роза ни на что не обращала внимания, она не была тщеславной, а в тот день она словно отсутствовала более чем обычно. Она придумывала для вышивки на своей скатерти невиданных созданий – полуптиц-полузверей, покрытых перьями всех цветов радуги, с рогами, копытами, таких толстых и с такими короткими крыльями, что это явно противоречило законам природы.

О своем женихе, Эстебане Труэбе, она вспоминала изредка, не потому что не любила, а просто по своей забывчивости, да еще оттого, что два года разлуки – немалый срок. Он работал на шахтах севера. Регулярно писал ей, и Роза иногда отвечала, посылая переписанные стихи и выполненные тушью на пергаментной бумаге картинки с цветами. Благодаря этой переписке, в которую регулярно вмешивалась Нивея, она узнала об опасностях, подстерегающих Эстебана на шахтах, о постоянной угрозе разорения, когда все надежды возлагаешь на ускользающую золотую жилу, и просишь кредиты, и веришь в счастливую судьбу, что поможет тебе нажить состояние, вернуться и повести Розу к алтарю, и стать самым счастливым человеком в мире, как он всегда приписывал в конце каждого письма. Роза тем не менее не спешила выйти замуж, почти забыла тот единственный поцелуй, которым они обменялись при прощании, и не могла вспомнить, какого цвета глаза у ее настойчивого жениха. Под влиянием романтических произведений, которые составляли круг ее чтения, она представляла его себе (и ей это нравилось) в сапогах на толстой подошве, с лицом, обожженным ветрами пустынь, прорывающимся в недра земли в поисках пиратских сокровищ, испанских дублонов и драгоценностей инков. Напрасно Нивея пыталась ее убедить, что богатство шахт – это камни. Розе казалось невозможным, что из шахт нужно поднять тонны скалистых пород, чтобы получить, возможно, лишь грамм золота. Между тем она ждала его, не тоскуя, непоколебимая в своей великой идее: вышить самую большую скатерть в мире. Начала она с собак, кошек и бабочек, но скоро фантазия настолько завладела ею, что появился рай с невиданными животными, которые рождались под ее иглой, вызывая беспокойство отца. Северо считал, что наступило время, когда его дочь должна очнуться и твердо стоять на земле, выучиться домашней работе, подготовиться к браку, но Нивея не разделяла этой тревоги. Она предпочитала не терзать свою дочь земными делами, предчувствуя, что Роза – небесное создание и недолго пребудет в тяжком круговороте земной жизни. Она позволяла ей спокойно заниматься вышиванием и ничего не имела против ее кошмарного зоологического сада.

Одна из пластинок корсета у Нивеи лопнула и впилась в тело. Она почувствовала, что задыхается в своем голубом бархатном платье со слишком высоким кружевным воротником и очень узкими рукавами. Пояс затягивался так туго, что, когда она развязывала его, проходило полчаса, прежде чем живот разглаживался, а внутренности вставали на свои места. Со своими подругами-суфражистками они часто спорили по этому поводу и пришли к выводу, что, пока женщины не укоротят платья, не станут стричь волосы и не откажутся от нижних юбок, ни к чему изучать медицину, бороться за права и избирательные голоса; но ведь они не осмелятся сделать это, да и самой Нивее не хватало духу стать первой на этом пути. Тут она заметила, что глас священника перестал бить словно молотом по голове. В проповеди наступила долгая пауза. Божий праведник часто прибегал к подобному эффекту, чтобы в полном молчании своим горящим взглядом пробежать по лицам прихожан. Нивея отпустила руку Клары и, достав из рукава платок, вытерла каплю, сбегавшую по шее. Тишина сгущалась; время, казалось, остановилось. Никто не осмеливался кашлянуть или изменить положение тела, боясь привлечь внимание падре Рестрепо. Эхо его последних фраз еще звучало среди колонн.

И в это время, как вспоминала годы спустя Нивея, в минуты полного смятения и тишины, слышался чистый голос ее маленькой Клары:

– Уф! Падре Рестрепо! Даже если рассказ о преисподней – сушая выдумка, все равно нам скучно...

Перст указующий иезуита, который тот воздел, дабы обратить внимание на новые пытки, повис в воздухе, точно громоотвод над его головой. Все перестали дышать, а те, кто клевал носом, оживились. Супруги дель Валье первыми почувствовали панику. Дети вдруг разом заволновались. Северо понял, что должен действовать, прежде чем раздастся всеобщий смех или разверзнутся небеса. Взяв жену под руку, а Клару за шиворот, он потащил их к выходу, остальные поспешили за ним. Им удалось выйти до того, как священник смог бы превратить их в соляные статуи, но все же у порога до них донесся глас оскорбленного архангела:

– Одержимая дьяволом! Дьявольская гордыня!

Эти слова падре Рестрепо сохранились в памяти семьи словно серьезный диагноз, и в последующие годы их часто случалось вспоминать. Единственным, кто ничего не помнил, была сама Клара. Она ограничилась тем, что записала об этом в своем дневнике, а потом забыла. Зато ее родители об этом не забывали, хотя и считали, что одержимость дьяволом и гордыня были бы слишком большим грехом для такой маленькой девочки. Они боялись людского злословия и фанатизма падре Рестрепо. До этого дня странные способности Клары никак не обсуждались, а уж тем более не связывались с сатанинским влиянием, так же как хромота Луиса или красота Розы. Эксцентричность Клары никому не мешала, к ней приспособились в домашнем кругу. Иногда во время обеда, когда вся семья собиралась в большой столовой, занимая места в соответствии с иерархией, солонка начинала дрожать и без видимой причины перемещалась по столу среди тарелок и рюмок. Нивея дергала Клару за косы, девочка выходила из состояния своей странной рассеянности и возвращала солонку на место. Братья договаривались, что, в случае прихода гостей, тот, кто окажется ближе, удерживает рукой передвигающийся по столу предмет, прежде чем чужие люди заметят это и успеют испугаться. А семья продолжала обед как ни в чем не бывало. Все давно уже привыкли и к предсказаниям младшей сестры. Она заранее предупреждала о землетрясениях, что было очень удобно, так как давало время упаковать столовую посуду и поставить рядом с кроватью домашние туфли, если придется выскакивать на улицу ночью. В шесть лет Клара предсказала, что лошадь сбросит Луиса, но он не прислушался к ее словам, и с тех пор у него было повреждено бедро. Со временем одна нога стала короче другой, и он был вынужден пользоваться специальным ботинком на толстой подошве, которую сам смастерил. После случая в церкви Нивея расстроилась, но Нянюшка вернула ей покой, рассказав о многочисленных случаях, когда у детей, порхающих словно птицы, угадывающих сны и говорящих с духами, все проходит с утратой невинности.

– Вырасти такими они не могут, – объяснила она. – Вот увидите, настанет время, и у нее пройдет мания двигать мебель и предвещать несчастья.

Больше всех Нянюшка любила Клару. Она помогла ей родиться и была единственной, кто по-настоящему понимал странную природу девочки. Когда Клара вышла из чрева матери, Нянюшка приняла ее, обмыла и с той минуты отчаянно полюбила это хрупкое создание. Когда девочка задыхалась в приступе астмы, она много раз согревала ее теплом своей пышной груди, так как знала, что это простое средство действует гораздо лучше, чем водочные сиропы доктора Куэваса.

В тот Страстной четверг Северо дель Валье мрачно ходил по гостиной, думая о скандале, который вызвали слова его дочери во время мессы. Он понимал, что лишь такой фанатик, как падре Рестрепо, мог верить в бесноватых в двадцатом веке – веке просвещения, науки и техники. Нивея прервала его, сказав, что не это главное. Будет хуже, если весть о способностях Клары разлетится за стенами дома.

– Тогда люди станут приходить, чтобы посмотреть на нее, как на чудо, – заключила Нивея.

– И либеральная партия полетит к чертям, – добавил Северо, который считал, что колдовство в семье может нанести вред его политической карьере.

Так они разговаривали, когда вошла Нянюшка, шлепая альпаргатами и шелестя накрахмаленными нижними юбками. Она сообщила, что какие-то мужчины во дворе выгружают мертвеца. Так оно и было. Они въехали на четверке лошадей, запряженных в повозку, и заняли весь первый дворик, смяв камелии и запачкав навозом сверкающий настил. Вихрем вздымалась пыль, ржали лошади, а самые суеверные крестились от сглаза. Они привезли труп дяди Маркоса со всем его багажом. Во главе процессии стоял слащавый человечек, одетый в большой черный сюртук и черную шляпу. Он начал было торжественную речь, но Нивея резко прервала его и бросилась на запыленный гроб. Нивея кричала, просила поднять крышку, чтобы собственными глазами увидеть любимого брата. Однажды ей уже довелось хоронить его, и потому она сомневалась в том, что и на этот раз смерть пришла окончательно. На ее крики выбежали из дома слуги, а дети, услышав имя их дяди среди отчаянных воплей, примчались что есть духу.

Уже два года Клара не видела дядю Маркоса, но помнила его очень хорошо. Это был самый светлый образ ее детства, и, чтобы вспомнить его лицо, ей не нужно было рассматривать дагеротип в большом зале. Маркос был снят в дорожном костюме, он опирался на двустволку старого образца, поставив правую ногу на шею малайзийского тигра, точно в такой же торжественной позе, какую она запомнила, рассматривая Святую Деву в большом алтаре, попиравшую поверженного дьявола среди гипсовых облаков и бледных ангелов. Кларе было достаточно закрыть глаза, чтобы увидеть своего дядюшку, здорового и неврежденного всеми ветрами планеты, худощавого, с усами флибустьера, из-под которых виднелась его странная улыбка с зубами как у акулы. Невозможно было представить его в этом черном ящике посреди патио.

Всякий раз, когда Маркос появлялся в доме своей сестры, он оставался у нее на несколько месяцев, вызывая радость племянников, особенно Клары, и принося бурю, нарушавшую порядок в семье Нивеи. Дом наполнялся странными баулами, забальзамированными животными, стрелами индейцев, морскими сокровищами. Повсюду можно было наткнуться на непонятные предметы, а то вдруг появлялись невиданные твари, которые проделали путешествие из самых далеких земель, чтобы закончить свою жизнь под неумолимой метлой Нянюшки в каком-нибудь углу дома. Манеры у дяди Маркоса, по словам Северо, были прямо-таки каннибальские. Ночами он проделывал непонятные движения в зале, которые, как потом оказывалось, служили упражнениями для совершенствования контроля головы над телом и улучшения пищеварения. Он ставил алхимические опыты на кухне, наполняя весь дом смрадными парами и приводя в негодность горшки, ко дну которых навсегда прилипали какие-то несмываемые твердые вещества. В то время как другие пытались уснуть, он перетаскивал свои чемоданы по коридорам, извлекал резкие звуки с помощью дикарских инструментов и учил говорить по-испански попугая, родной язык которого был амазонского происхождения. Днем он спал в гамаке, подвесив его к двум колоннам в коридоре, а его единственным одеянием была набедренная повязка, приводившая в ужас Северо; однако Нивея прощала Маркоса, потому что тот убедил ее, что именно в таком виде проповедовал Иисус Назаретянин.

Клара великолепно помнила, несмотря на то что была маленькой, как впервые приехал к ним дядя Маркос, вернувшись из своих путешествий. Он устроился так, словно собирался остаться здесь навсегда. Вскоре ему, правда, надоело бывать на вечеринках, играть в карты и уклоняться от настойчивых советов родственников опомниться и пойти работать помощником в бюро адвокатов Северо дель Валье. Он купил себе органчик и пошел бродить по улицам с намерением обольстить двоюродную сестру Антоньету, а заодно повеселить публику музыкой своей шарманки. Это был ободранный ящик с колесами, который Маркос разрисовал морскими мотивами и снабдил фальшивой паровой трубой. Напоминало все это кухню,

отапливаемую углем. Органчик играл или военный марш, или вальс, по очереди, и в то время, как вращалась ручка, попугай, который выучился говорить по-испански, хотя еще не избавился от акцента, привлекал публику пронзительными криками. К тому же он выбирал клювом записочки из коробки с предсказанием судьбы для тех, кто проявлял любопытство. Розовые, зеленые и голубые записочки были так хитроумно составлены, что всегда содержали сокровенные тайны клиента. Кроме записочек с судьбой, дядя Маркос еще продавал раскидаи для детей и порошки против импотенции, торгуясь вполголоса с прохожими, страдавшими тайным недугом. Мысль об органчике родилась у него как последнее отчаянное средство привлечь внимание двоюродной сестры Антоньеты (все другие способы ухаживания провалились). Он подумал, что ни одна женщина в здравом уме не смогла бы остаться равнодушной к песне шарманки. Потому так и поступил. Однажды вечером он пришел под ее окно и стал играть то военный марш, то вальс. Она пила чай в кругу своих подруг и ничего не понимала, пока попугай не стал выкрикивать имя, данное ей при крещении. Тогда она нехотя высунулась в окно. Не такой реакции ждал от нее влюбленный. Подруги взяли на себя труд описать эту историю во всех гостиных города. На следующий день публика стала кружить по центральным улицам в надежде увидеть своими собственными глазами шурина Северо дель Валье, играющего на органчике и продающего раскидаи. Им очень хотелось самим во всем удостовериться, а также получить удовольствие оттого, что и лучшим фамилиям в городе есть чего стыдиться. Семья так огорчилась, что Маркос был вынужден отказаться от органчика и выбрать другие методы, чтобы понравиться двоюродной сестре. Успеха он, однако, не имел, и в один прекрасный день девушка вышла замуж за некоего дипломата старше ее на двадцать лет. Тот увез ее в одну из тропических стран, название которой никто не мог вспомнить, говорили, что там полно негров, бананов и пальм. В далеких краях Антоньета забыла о претенденте, потревожившем ее восемнадцатилетнюю жизнь военным маршем и вальсом. Маркос впал в депрессию на два или три дня, после чего объявил, что никогда не женится и отправляется в кругосветное путешествие. Он продал органчик одному слепому, а попугая оставил в наследство Кларе, но Нянюшка тайно отравила его рыбьим жиром, дав слишком большую дозу. Она не смогла вынести его сладострастного взгляда, блох и дурацких криков.

Именно это путешествие Маркоса было самым продолжительным. Он вернулся с огромным грузом ящиков, которые сложили до окончания зимы в последнем патио, между курятником и дровяным сараем. С приходом весны их переместили в парк Парадов, на открытое огромное поле. В дни отечественных праздников там собирался народ, чтобы посмотреть марш военных, шедших гусиным шагом, заимствованным у пруссаков. Когда ящики открыли, в них оказались разрозненные детали из дерева и металла, а также пестрые ткани. Две недели Маркос соединял отдельные части в соответствии с инструкцией на английском языке, которую он расшифровал благодаря своему неординарному воображению и карманному словарю. Когда работа была закончена, оказалось, что это птица доисторических размеров с головой свирепого орла, с двигающимися крыльями и пропеллером на хребте. Это вызвало всеобщее потрясение. Аристократические семьи забыли органчик, и Маркос стал сенсацией сезона. По воскресеньям люди совершали прогулки, чтобы увидеть птицу, а продавцы легких закусок и бродячие фотографы воспользовались случаем набить карманы. Тем не менее интерес публики вскоре заметно ослабел. Тогда Маркос объявил, что, как только позволит погода, он намерен поднять птицу в воздух и пересечь Кордильеры. Новость распространилась мгновенно и превратилась в событие, о котором больше всего говорили в том году. Машина прочно лежала брюхом на твердой земле, тяжелая и неуклюжая, скорее напоминающая раненую утку, нежели один из тех современных аэропланов, что начали строить в Северной Америке. Невозможно было поверить, что эта штука может двигаться, а уж тем более подняться в воздух и пересечь заснеженные горы. Журналисты и любопытствующие сбежались гурьбой. Маркос широко улыбался под шквалом вопросов и позировал фотографам, не предоставляя никакого научного объяснения

по поводу осуществления своего замысла. Были здесь и провинциалы, специально приехавшие посмотреть этот спектакль. Спустя сорок лет внучатый племянник Маркоса Николас, которого тому не довелось узнать, воскресил мечту о полете, что владела мужчинами их рода. Николас решил подняться в воздух в коммерческих целях на наполненном подогретым воздухом гигантском шаре с рекламой газированных напитков. Но во времена, когда Маркос объявил о своем путешествии на аэроплане, никто не верил, что это изобретение может послужить чему-либо полезному. Маркос был искателем приключений, этим все и объяснялось. Утро, назначенное для полета, оказалось пасмурным, но Маркос не пожелал отменить свое путешествие. Он явился на место в назначенный час и даже не взглянул на небо, покрытое серыми и черными тучами. Ошеломленная толпа заполнила все близлежащие улицы, вскарабкалась на крыши и балконы домов и протиснулась в парк. Ни одна политическая акция не смогла привлечь столько людей даже спустя полвека, когда первый марксистский кандидат должен был абсолютно демократическим путем занять кресло президента.

Клара всю жизнь вспоминала тот праздничный день. Люди оделись по-весеннему, несколько опережая официальное открытие сезона, мужчины – в белые полотняные костюмы, а дамы – в соломенные итальянские шляпки, которые стали сенсацией в том году. Группы школьников во главе с учителями несли букеты для героя. Маркос принимал цветы и шутил, говоря, чтобы немного подождали, пока он взорвется, чтобы букетыгодились для похорон. Епископ собственной персоной, хотя его никто не просил об этом, с помощниками, несущими кадильницы, благословил птицу, а певческое общество жандармерии исполнило веселенькую музыку, на радость собравшимся. Полиция на лошадях, с копьями, едва сдерживала толпу, оттесненную к центру парка, где находился Маркос. Одетый в спецовку механика, в огромных очках автомобилиста, он был полностью поглощен предстоящим путешествием. Для полета он приготовил компас, подзорную трубу и странные навигационные карты, которые составил сам, основываясь на теориях Леонардо да Винчи и на картах инков. Вопреки всякой логике, при повторной попытке птица взлетела, хотя кости ее трещали, а мотор хрипел. Двигая крыльями, она исчезла в облаках, сопровождаемая прощальными аплодисментами, свистом, музыкой сдвоенного оркестра и окроплением святой водой. Женщины размахивали платками, а мужчины знаменами. Клара продолжала смотреть на небо даже после того, как ее дядюшку не стало видно. Спустя десять минут она подумала, что различила его, но это оказался всего-навсего пролетающий воробей. Через три дня ликование, вызванное первым в стране полетом на аэроплане, прошло, и никто уже не вспоминал об этом. Только Клара неустанно наблюдала за небесами.

По прошествии недели, не имея никаких известий, она предположила, что дядя Маркос поднялся так высоко, что затерялся среди звездного пространства, а самые невежественные лелеяли мысль о том, что он долетит до Луны. Северо, со смешанным чувством тоски и облегчения, решил, что его шурин упал со своей машиной в какую-нибудь расщелину в Кордильерах, где его никогда не найдут. Нивея безутешно плакала и поставила свечи святому Антонию, покровителю утраченного. Северо воспротивился ее намерению заказать несколько месс, потому что не верил в подобное средство умиловить Небеса, а тем более вернуть человека на землю. Он упорствовал в том, что мессы и заклинания, а также индульгенции и торговля ладанками являются делом бесчестным. По такому случаю Нивея и Нянюшка заставили детей тайком молиться, перебирая четки, в течение девяти дней. Между тем группы добровольцев и горноспасателей неустанно искали Маркоса на пиках и в ущельях гор, проходя по всем опасным тропам, пока наконец не вернулись с триумфом и не передали семье останки погибшего в черном закрытом гробу. Похороны бесстрашного путешественника были грандиозными. Смерть вновь превратила его в героя, и его имя несколько дней не сходило со страниц газет. Та же толпа, которая приветствовала его в день полета, проществовала теперь мимо гроба. Вся семья оплакивала Маркоса, как он того заслуживал. Только Клара продол-

жала исследовать небо с терпением астронома. Спустя неделю после погребения на пороге дома Нивей и Северо явился во плоти сам дядя Маркос с веселой улыбкой под пиратскими усами. Благодаря тайным молитвам женщин и детей, как он сам признавал это, он остался жив и здоров. Несмотря на безупречное происхождение его аэронавигационных карт, полет провалился. Он потерял аэроплан и вынужден был возвращаться пешком, но все его кости оказались целы, а дух авантюриста все так же силен. Это укрепило семью в почитании святого Антония и отнюдь не послужило горьким уроком для всех последующих поколений, которые тоже пытались летать различными способами. Тем не менее по закону Маркос считался трупом. Северо дель Валье приложил все старания, чтобы вернуть жизнь и социальное положение своему шуруну. Когда открыли гроб в присутствии соответствующих властей, увидели, что там лежал мешок с песком. Это обстоятельство подорвало до сих пор незапятнанный престиж разведчиков и добровольных горноискателей.

Героическое воскрешение Маркоса заставило всех забыть историю с органчиком. Его снова стали приглашать в лучшие дома города, и, по крайней мере на какое-то время, его имя обрело утраченные права. Маркос прожил в доме сестры несколько месяцев. Как-то ночью он ушел, ни с кем не простившись, оставив свои чемоданы, книги, оружие, сапоги и все прочие вещи. Северо и даже сама Нивея облегченно вздохнули. Его последний визит затянулся надолго. Но Клара почувствовала себя такой печальной, что целую неделю бродила как сомнамбула и сосала палец. Девочка, которой в ту пору исполнилось семь лет, научилась читать книги своего дяди и была близка ему, как никто другой из членов семьи. Маркос считал, что редкие способности племянницы могут явиться источником доходов и прекрасным поводом для развития его собственного ясновидения. По его теории, это качество имеется у всех человеческих существ, особенно же у его родственников, а если оно и не проявляется достаточно очевидно, то только из-за отсутствия практики. Он купил на персидском базаре стеклянный шарик, который, по его мнению, обладал магическими свойствами и был привезен с Востока, правда, позже он узнал, что это всего-навсего поплавок с рыбацкой лодки; он завернул его в кусочек черного бархата и заявил, что с его помощью можно предсказывать судьбу, лечить болезни глаз, читать прошлое и улучшать сон – и все за пять сентаво. Его первыми клиентами стали соседские слуги. Одну служанку незадолго до того сочли воровкой, потому что ее хозяйка не досчиталась кольца с камнем. Стеклянный шарик указал на то место, где лежало украшение: оно закатилось под платяной шкаф. На следующий день у дверей дома образовалась очередь. Пришли кучера, торговцы, разносчики молока и воды, а позже скромно появились городские служащие и почтенные дамы, которые тенью скользили вдоль стен, пытаясь пройти незамеченными. Пришедших принимала Нянюшка, которая распоряжалась ими в прихожей и получала гонорар. Эта работа занимала ее весь день и требовала так много сил, что она забросила свои дела на кухне, и все семейство стало жаловаться, что ужин теперь состоял лишь из прогорклой американской фасоли да айвового варенья. Маркос украсил каретный сарай старыми гардинами, которые прежде висели в гостиной, но со временем превратились в пыльные тряпки. Там он вместе с Кларой принимал публику. Оба предсказателя были одеты в туники «цвета людей солнца», как называл Маркос желтый цвет. Нянюшка покрасила туники шафранным порошком, прокипятив их в горшке, предназначавшемся для приготовления пищи. Маркос носил на голове тюрбан, а на шее – египетский амулет. Он отрастил бороду и волосы и выглядел тощим как никогда. Маркос и Клара всегда предсказывали очень точно, а ведь девочке даже не нужно было смотреть на стеклянный шарик, чтобы угадать то, что каждый хотел услышать. Она шептала это на ухо дяде Маркосу, а тот передавал сообщение посетителю и придумывал советы, подходящие, по его мнению, к этому случаю. Так разнеслась о нем слава, ведь люди, приходившие за советом унылыми и печальными, уходили полные надежд; влюбленные, которым не отвечали взаимностью, получали рекомендации по завоеванию равнодушного сердца, а бедняки уносили с собой беспроигрышную ставку на предстоя-

щих бегах борзых. Дело это так процветало, что приемная всегда была битком набита людьми, а у Нянюшки стала кружиться голова, присесть ей просто не удавалось. На этот раз Северо не пришлось вмешиваться, чтобы положить конец предпринимательской инициативе шурина. Оба предсказателя, поняв, что их способности могут изменить судьбу посетителей, буквально следовавших их советам, пришли в ужас и решили, что занимаются мошенничеством. Они покинули каретный сарай, где пророчествовали, и справедливо поделили доходы, хотя единственным заинтересованным в материальном плане лицом оказалась Нянюшка.

Из всех братьев и сестер дель Валье только Клара с неизменным интересом выслушивала рассказы дядюшки. Она могла повторить любой, знала на память слова из редких индейских диалектов, была знакома с обычаями индейцев и могла описать форму деревьев, которые продеваются в губы и в мочки ушей. Она была наслышана об обрядах посвящения и помнила названия самых ядовитых змей и противоядий. Рассказы дяди были так красноречивы, что девочка могла почувствовать на собственном теле обжигающие укусы гадюк, увидеть, как пресмыкающееся скользит по ковру между ножками подставок из хакаранды, услышать крики попугаев среди занавесей в гостиной. Она четко помнила о пути Лопе де Агирре в поисках Эльдорадо, точно называла представителей флоры и фауны, увиденных или придуманных ее удивительным дядей, знала о ламах, которые пьют соленый чай с ячьим жиром, и могла подробно описать роскошных туземцев Полинезии, рисовые поля Китая, белые равнины северных стран, где вечный лед убивает животных и людей, что засыпают, замерзая в считанные минуты. У Маркоса было несколько дневников путешествий, куда он записывал свои маршруты и свои впечатления, а также коллекция карт. В сундуках, сваленных в комнате со всяким хламом в глупине третьего патио, он хранил книги о путешествиях, сказания и волшебные сказки. Отсюда они попали в руки его потомков, наполняя их сны, пока не были сожжены по ошибке спустя пятьдесят лет на позорном костре.

И вот из последнего своего путешествия Маркос вернулся в гробу. Он умер от какой-то таинственной африканской чумы, от которой постепенно сделался морщинистым и желтым, словно пергамент. Почувствовав себя больным, он пустился в обратное путешествие, надеясь, что заботы сестры и мудрость доктора Куэваса вернут ему здоровье и молодость, но не выдержал шестидневного пути на пароходе. Недалеко от Гуайякиля он умер, истощенный лихорадкой, бредя о женщинах, пахнущих мускусом, и о тайных сокровищах. Капитан судна, англичанин по имени Лонгфелло, готов был бросить его в море завернутым во флаг, но Маркос, несмотря на свою экстравагантность, приобрел столько друзей и имел успех у стольких женщин, что пассажиры трансатлантического парохода помешали замыслу капитана. Лонгфелло вынужден был спустить его в трюм, где хранились овощи для китайской кухни, дабы предохранить тело от жары и тропических mosquitos, а корабельный плотник даже сколотил для него ящик. В Калье им удалось купить настоящий гроб, а спустя несколько дней капитан, пришедший в ярость от бесконечных хлопот, которые этот странный пассажир причинил судоходной компании и лично ему, выгрузил его без церемоний на пристани, удивившись, что никто не пришел за ним и не оплатил непредвиденные расходы. Позже он узнал, что почти на этих широтах не следовало доверять так, как в его далекой Англии, и что его телеграммы улетучивались по дороге. К счастью для Лонгфелло, один адвокат на таможне знал семью дель Валье и предложил свои услуги, погрузив Маркоса и его замысловатый багаж на грузовую повозку. Он доставил его в столицу по единственно точному местожительству Маркоса – в дом его сестры.

Для Клары это событие явилось самым большим горем в ее жизни, если бы не Баррабас, затерявшийся среди пожиток дядюшки. Она не замечала смятения, царившего во дворе, а инстинкт привел ее прямо в угол, куда бросили клетку. В ней-то и находился Баррабас. От него остались лишь кости да кожа, покрытая неопределенного цвета шерстью, со множеством

пролысин; один глаз был закрыт, а из другого сочился гной, он был неподвижен, как труп, во всей своей неприглядности. Несмотря на его вид, девочка распознала в нем пса.

– Собачка! – закричала она.

Клара позаботилась о животном. Извлекла из клетки, прижала к себе, убаюкав, и, подобно радеющему о больных миссионеру, бережно влила ему воды в пересохшую пасть. Пока собака находилась на борту рядом со своим умирающим хозяином, капитан, который был истинным англичанином и относился к животным лучше, чем к людям, кормил ее из своих рук и прогуливал по палубе, расточая все внимание, на какое поспешил в отношении Маркоса. Но, оказавшись на твердой земле, капитан отнесся к ней как к части багажа. Клара превратилась для пса в настоящую мать, впрочем, никто и не оспаривал это сомнительное право. Девочка вернула его к жизни. Дня через два, когда утихла буря, вызванная похоронами, Северо усталился на косматую тварь в руках своей дочери.

– Это еще что? – спросил он.

– Баррабас, – ответила Клара.

– Отдай его садовнику, пусть он избавится от него. Еще заразит нас какой-нибудь болезнью, – приказал Северо.

Но Клара уже усыновила его.

– Он мой, папа. Если вы отнимете его, клянусь, что перестану дышать и умру.

И Баррабас остался в доме. Вскоре он стал носиться повсюду, грызть бахрому занавесок, ковры и ножки шкафов, столов и стульев. Он очень быстро восстановил свои силы и стал расти. Когда его вымыли, то стало видно, что у него короткая черная шерсть, квадратная голова и длинные ноги. Нянюшка предложила подрезать ему хвост, чтобы он казался породистым, но Клару охватил гнев, переросший в приступ астмы, и никто больше не заикнулся об этом. Хвост у Баррабаса остался цел и со временем достиг такой же длины, как клюшка для гольфа. Его движения были непредсказуемы, он сметал хвостом фарфор со столов и опрокидывал лампы. Какой он был породы, осталось неизвестным. У него не имелось ничего общего с бродячими собаками и еще меньше с чистопородными существами, которых держали в иных аристократических домах. Ветеринар не сумел определить породу Баррабаса, и Клара предположила, что он родом из Китая, потому что большая часть багажа ее дяди была привезена из этой далекой страны. Пес обладал безграничной способностью к росту. Через полгода он вырос с овцу, а через год достиг размеров жеребенка. Вся семья в отчаянии вопрошала, до каких пор он будет расти, домашние даже усомнились, действительно ли это собака, а не какое-то экзотическое животное, пойманное во время охоты дядюшкой-путешественником в некоем диком уголке земли. Нивея взирала на его лапы, напоминавшие крокодилы, на его острые зубы, и ее материнское сердце содрогалось при мысли о том, что это животное одним махом может свернуть голову кому-нибудь из ее взрослых детей, не говоря уже о младших. Но Баррабас не проявлял никаких признаков свирепости. Наоборот, у него замечались кошачьи повадки. Он спал в обнимку с Кларой, в ее кровати, положив голову на пуховую подушку и укутавшись до самого носа, потому что обычно зябнул. А когда не забирался на кровать, лежал на полу рядом, уткнувшись лошадиной мордой в руку девочки. Никогда не слышали, чтобы он лаял или рычал. Он был тих и молчалив, словно пантера, ему нравились ветчина и засахаренные фрукты, и всякий раз, когда приходили гости и его забывали запереть, он тихонечко пробирался в столовую и обходил стол, деликатно потаскивая лакомые кусочки с блюд. Несмотря на почти девичью кротость, Баррабас внушал страх. Поставщики товаров поспешно улепетывали, когда он выбегал на улицу. А однажды его появление вызвало панику среди женщин, стоявших цепочкой у тележки с молоком, потому что Баррабас испугал запряженного першерона, и тот пулей рванул под грохот ведер с молоком, опрокинувшись на мостовую. Северо вынужден был заплатить за причиненный ущерб и приказал привязать собаку в патио, но у Клары случился обморок, и решение отложили на неопределенный срок. Народная фантазия

наделила Баррабаса мифологическими чертами. Говорили, что он все растет и растет и что, если его существование не будет оборвано каким-нибудь кровожадным мясником, он достигнет размеров верблюда. Люди считали его помесью пса и кобылы и боялись, что у него могут вырасти крылья и рога, как у животных, что вышивала Роза на своей бесконечной скатерти. Нянюшка, которой по горло надоело подбирать осколки разбитого фарфора и слушать шутки о превращении его в волка в полнолуние, прибегла к тому же средству, что и в случае с попугаем. Однако сверхдоза рыбьего жира не убила Баррабаса, а лишь вызвала понос, длившийся четыре дня. Результаты его красовались на всех этажах дома, так что самой Нянюшке и пришлось все убирать.

* * *

Это были трудные годы. Мне было около двадцати пяти лет, но я знал, что впереди у меня не слишком много времени, чтобы обеспечить будущее и завоевать положение, о котором я мечтал. Работал я как вол, и, когда изредка мне приходилось отдыхать, а также в дни невероятной тоски я понимал, что теряю прекрасные мгновения и что каждая минута отдыха отдаляет меня на целый век от Розы. Я жил на шахте, в деревянной хижине с цинковой крышей, которую соорудил сам с помощью двух чернорабочих. Это была одна квадратная комната, там уместились все мои вещи, в каждой стене были окна, которые можно было открывать днем, чтобы впустить прохладу, и закрывать ставнями на ночь, когда дул ледяной ветер. Вся моя мебель состояла из стула, походной кровати, простого деревенского стола, пишущей машинки и тяжелого ящика. Я был вынужден возить его на спине мула через пустыню, в нем я хранил заработки шахтеров, кое-какие документы и брезентовый мешочек, где поблескивали кусочки золота – плоды стольких усилий. Он был неудобным, этот ящик, но я привык к неудобствам. Я и раньше никогда не умывался горячей водой, и воспоминание о детстве у меня всегда было связано с холодом, одиночеством и пустым желудком. На шахте я ел, спал и два года писал письма. Развлекался я только чтением уже много раз прочитанных книг, газет, приходивших с опозданием, да нескольких текстов на английском, служивших мне для изучения основ этого прекрасного языка. Я часто открывал шкатулку, запиравшуюся на ключ, где хранил переписку с Розой. Я привык писать ей на машинке и копии хранил у себя, пронумерованными по порядку, наряду с теми редкими письмами, что получал от нее. Я ел то же, что готовили горнякам, и запрещал на шахте спиртное. В доме я его тоже не держал, потому что всегда считал, что одиночество и скука превращают человека в конце концов в горького пьяницу. Возможно, воспоминание об отце со стаканом в руке, с расстегнутым воротником, замусоленным галстуком, съехавшим на сторону, и мутными глазами сделало из меня трезвенника. Слабая у меня голова для рюмки, я легко пьянею. Я обнаружил это в шестнадцать лет и никогда не забывал. Однажды моя внучка спросила меня, как я смог так долго жить в одиночестве, так далеко от цивилизации. Не знаю. Но в самом деле для меня это должно быть легче, чем для других, потому что я не большой любитель общества, у меня мало друзей, мне не нравятся праздники, суматоха, напротив, я чувствую себя лучше, когда я один. Мне стоит большого труда сходить с людьми. В те времена я еще не был связан ни с одной женщиной, так что я не мог тосковать о том, чего не знал. Я никогда не был влюбчив, по природе я не ветрен, несмотря на то что достаточно очертания руки, тонкой талии или круглого колена, чтобы я вообразил себе бог знает что даже теперь, когда я такой старый, что, смотрясь в зеркало, не узнаю себя. Я похож на согнувшееся дерево. Я не пытаюсь оправдать грехи своей молодости тем, что не властен был контролировать свои желания, ни в коем случае. Тогда я привык к мимолетным связям с женщинами легкого поведения, потому что иного не было дано. Мое поколение делало различие между достойными женщинами и прочими, а достойных делили на своих и чужих. Я никогда не думал о любви, пока не познакомился с Розой. Романтизм казался мне чем-то опасным и бесполезным, и если иной раз мне нравилась какая-либо девушка, я не

осмеливался подойти к ней из опасения быть отвергнутым или показаться смешным. Я был очень гордым и из-за своей гордости страдал больше, чем другие.

Прошло более полувека, но и сейчас в моей памяти я храню тот момент, когда Роза, красавица, вошла в мою жизнь подобно ангелу, рассеянно проскользнувшему мимо и похитившему мое сердце. Она прошла с Нянюшкой и младшей сестрой. Мне кажется, на ней было платье сиреневого цвета, но не уверен, так как никогда не замечаю, как одета женщина. Роза была так красива, что, даже если бы она надела мантию из горностая, я заметил бы только ее лицо. Обычно я не обращаю внимания на женщин, но тут я не мог не заметить, как при ее появлении возникло всеобщее смятение, даже остановилось движение. Зеленые волосы обрамляли ее лицо подобно фантастическому сомбреро, ее удивительная манера двигаться была похожа на полет. Она прошла мимо, не заметив меня, и словно впорхнула на крыльях в кондитерскую на Пласа де Армас. Я стоял на улице в полном изумлении, пока она покупала анисовую карамель. Со смехом, подобным колокольчику, она бросала одну карамельку себе в рот, а другую своей сестре. Не я один был загипнотизирован, в мгновение ока образовалась целая стайка мужчин, прилипших к окну. Тогда я начал размышлять. Мне пришло в голову, что я слишком далек от того, чтобы стать идеальным претендентом на руку этой восхитительной девушки, ведь у меня не было состояния, я не являлся безупречным молодым человеком, и будущее мое представлялось весьма туманным. Да к тому же я не был знаком с ней! Но я был ослеплен и в этот самый момент решил, что это единственная женщина, достойная стать моей женой, а если я не смогу жениться на ней, то предпочту остаться холостяком. Я следовал за ней на обратном пути до самого дома. Сел в тот же трамвай позади нее и не мог оторвать взгляд от совершенных линий ее затылка, округлой шеи, ее трогательных плеч, обласканных зелеными кудрями, выбивавшимися из прически. Я не чувствовал ход трамвая, потому что ехал точно во сне. Вдруг она проскользнула к выходу, и, когда проходила мимо меня, ее золотистые зрачки задержались на мне на мгновение. Я почти умер, не мог дышать, у меня остановился пульс. Едва силы вернулись ко мне, я выпрыгнул на газон, рискуя сломать себе ноги, и побежал в направлении улицы, где скрылась она. Угадал, где она живет, увидев сиреневое пятно, которое растаяло за дверью дома. С этого дня я постоянно дежурил там, бродя по кварталу, словно бездомная собака, шпионя, подкупая садовника, заводя разговоры с прислугой. Я добился беседы с Нянюшкой, и она, святая женщина, посочувствовала мне и согласилась передавать любовные записки, цветы и коробочки анисовой карамели, которыми я пытался завоевать сердце девушки. Кроме того, я всякий раз посылал Розе стихи. Сам я не умел слагать стихотворения, но знал одного книготорговца, испанца, который был просто гением рифмы, и я заказывал поэмы, песни, любые сочинения, сырьем для которых служили бумага и чернила. Моя сестра Ферула помогла мне сблизиться с семьей дель Валье, обнаружив далекое родство между нашими семьями и находя различные поводы раскланиваться по окончании мессы.

Наконец я смог нанести Розе визит. В день, когда я вошел в дом и она услышала мои слова, не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Я снял шляпу и стоял, онемев, с открытым ртом, пока ее родители, которые привыкли к подобному поведению, не помогли мне. Не знаю, что смогла найти во мне Роза и почему со временем она согласилась видеть во мне будущего мужа. Я официально стал ее женихом, не совершив при этом никакого героического поступка. Несмотря на сказочную красоту Розы и ее бесчисленные добродетели, на руку девушки не было претендентов. Ее матушка объясняла это тем, что ни один мужчина не чувствовал себя достаточно уверенным и сильным, чтобы уберечь Розу от армии поклонников. Многие кружились вокруг нее, теряя из-за нее рассудок, но едва появился на горизонте я, никто больше не решался на это. Ее красота пугала, поэтому ею любовались издали, не приближаясь к ней. Сказать по правде, я об этом почти не думал. Меня беспокоило то, что у меня не было ни гроша. Однако я считал, что способен ради великой любви стать богатым человеком. Я мучительно размышлял, как это можно сделать быстрее, не роняя достоинства и чести,

в рамках которых меня воспитали, и понял, что для победы мне нужны покровители, специальные знания или капитал. Недостаточно было принадлежать к уважаемой фамилии. Думаю, если бы у меня были какие-то деньги для начала, я поставил бы их на лошадей или стал бы играть в карты. Но так как начального капитала не было, я должен был решиться на какое-то предприятие, которое, даже учитывая известный риск, помогло бы мне сколотить состояние. Золотые и серебряные прииски были мечтой авантюристов, они любого могли потопить в нищете, убить туберкулезом или же превратить в богача. Кому как повезет. Я получил концессию на шахту в северной провинции. Благодаря влиятельному имени моей матери банк поручился за меня. Я твердо поставил перед собой задачу извлечь из своих шахт весь драгоценный металл до последнего грамма, даже если бы мне пришлось собственными руками выжать все соки из горы и раскрошить скалы, топча их ногами. Ради Розы я готов был пойти и на многое другое.

* * *

В последние дни осени семья дель Валье наконец успокоилась по поводу намерений падре Рестрепо; после беседы с самим епископом тот оставил в покое малышку Клару. Со временем смирились с мыслью, что дядя Маркос действительно умер. Северо вернулся к своим политическим планам. Он трудился годы ради этой цели. Победа пришла вместе с приглашением стать кандидатом от либеральной партии на парламентских выборах. Он представлял одну из провинций юга, где никогда не бывал и которую даже не мог найти на карте. Партии нужны были люди, Северо страстно хотел занять место в конгрессе, так что убедить несчастных избирателей юга назвать его своим кандидатом было совсем не трудно. Приглашение подкрепили жареным боровом, розовым и величественным, которого избиратели доставили в дом семьи дель Валье. Он возлежал на большом деревянном подносе, благоухающий и лоснящийся, с пучком петрушки в зубах и морковкой в задней части, а вокруг краснели помидоры. Брюхо ему разрезали и начинили куропатками, те, в свою очередь, были фаршированы сливами. К сему прилагался графин, содержащий полгаллона лучшей отечественной водки. Северо давно мечтал стать депутатом, а еще лучше – сенатором. С этой целью он кропотливо упорядочивал свои дела – контакты, дружеские связи, тайные встречи, капиталы. Скромно, но эффектно появлялся на публике, в нужный момент соответствующим лицам оказывал поддержку. Эту южную провинцию, пусть незнакомую и далекую, он ждал.

Борова прислали во вторник. В пятницу, когда от него ничего не осталось, кроме щетины и косточек, которые грыз Баррабас в патио, Клара объявила, что в доме будет еще один покойник.

– Смерть произойдет по ошибке, – сказала она.

В ночь на субботу она плохо спала и проснулась с криком. Нянюшка дала ей липового отвара, и никто не обратил на это внимания, потому что все были заняты подготовкой к путешествию Северо на юг, да еще красавица Роза пробудилась в горячке. Нянюшка приказала оставить Розу в постели, а доктор Куэвас решил, что нет ничего серьезного и что нужно дать ей теплый лимонад с большим количеством сахара и глоток ликера, чтобы спал жар. Северо пришел к дочери и нашел ее раскрасневшейся. С горящими глазами она лежала под белыми кружевными покрывалами. Он подарил ей пригласительный билет на бал и попросил Нянюшку открыть графин с водкой и плеснуть немного в лимонад. Роза выпила лимонад, закуталась в шерстяную мантилью и тут же уснула рядом с Кларой, с которой делила спальню.

Утром в то трагическое воскресенье Нянюшка, как всегда, встала рано. Прежде чем отправиться в церковь, она приготовила на кухне завтрак для всей семьи. Разожгла плиту, раздув тлеющие угли, нагрела воду и вскипятила молоко. Стала варить овсянку, процеживать кофе, поджаривать хлеб. Поставила еду на два подноса, один для Нивеи, всегда завтракавшей в постели, а другой для Розы, которая, заболев, тоже могла позавтракать в комнате.

Она накрыла поднос для Розы полотняной салфеткой, чтобы не остыл кофе и не залетели мухи, и вышла в патио посмотреть, там ли Баррабас. Он просто зуд испытывал, когда она проходила мимо, и всегда набрасывался на нее. Баррабас рассеянно возился с курицей, и, воспользовавшись этим, Нянюшка отправилась в свое путешествие по дворикам и коридорам от кухни до внутренних покоев. Комната девочек находилась на другом конце дома. Перед дверью Розы она внезапно остановилась, будто что-то ударило ее. Вошла, по привычке не стучась, в комнату и сразу же почувствовала, что пахнет розами, хотя те уже отцвели. Тут-то Нянюшка и поняла, что случилось непоправимое несчастье. Осторожно поставила поднос на ночной столик и медленно подошла к окну. Откинула тяжелые занавеси, и бледное утреннее солнце проникло в спальню. Она повернулась в тоске и ничуть не удивилась, увидев на кровати скончавшуюся Розу. Она была прекрасна, как никогда, ее лицо цвета молодой слоновой кости обрамляли зеленые волосы, а прелестные глаза цвета меда оставались открытыми.

В изножье кровати стояла малышка Клара и смотрела на сестру. Нянюшка опустилась на колени у кровати, взяла Розу за руку и стала молиться. Спустя какое-то время в доме глухо раздался жалобный вой. В первый и последний раз Баррабас подал свой голос. Он скулил по ушней весь день, раздирая сердца обитателей дома и соседей, сбежавшихся на этот вой, словно на гудок тонущего корабля.

Доктору Куэвасу достаточно было бросить взгляд на тело Розы, чтобы понять, что не лихорадка стала причиной смерти. Он осмотрел все углы, прошел на кухню, провел пальцами по кастрюлям, развязал мешки с мукой и с сахаром, коробки с сухофруктами, все перевернул и оставил на своем пути беспорядок, как после урагана. Он перевернул вверх дном ящики в спальне Розы, опросил одного за другим всю прислугу и обвинил Нянюшку в недосмотре, выведя ее из себя. Наконец расследование привело его к графину с водкой, который он реквизирует не задумываясь. Никому не сообщив, он унес бутылку в свою лабораторию. Три часа спустя он вернулся с выражением страха на прежде румянном лице, которое так и не исчезло в эти ужасные дни. Он направился к Северу, взял его за руку и отвел в сторону.

– В этой водке было достаточно яда, чтобы прикончить быка, – сказал он, задыхаясь. – Но чтобы быть уверенным, что именно это убило девочку, я должен сделать вскрытие.

– Вы хотите сказать, что станете резать ее? – простонал Северо.

– Не всю. Голову я не трону, только желудочно-кишечный тракт, – объяснил доктор Куэвас.

Северо ужасно страдал. К этому часу Нивея обессилела от слез, но, услышав, что ее дочь собираются отвезти в морг, обрела свою обычную энергию. И успокоилась лишь тогда, когда услышала клятву, что из дома Розу отвезут прямо на католическое кладбище. Она согласилась принять успокоительное и проспала подряд двадцать часов.

Под вечер Северо дал необходимые распоряжения. Отправил детей спать и отпустил прислугу пораньше. Кларе, которая находилась под сильным впечатлением от случившегося, позволил провести эту ночь в комнате другой сестры. Когда везде погасли огни и дом погрузился в сон, приехал помощник доктора Куэваса, тощий и близорукий молодой человек, заикавшийся на каждом слове. Они помогли Северу перенести тело Розы на кухню и осторожно положили его на мраморную столешницу, где Нянюшка обычно месила тесто и рубила зелень. Несмотря на свой твердый характер, Северо не выдержал, когда с дочери сняли ночную сорочку и она предстала перед ними в ослепляющей наготы сирены. В этот момент он вышел, качаясь, опьяненный горем, и рухнул в гостиной, плача как младенец. Доктор Куэвас, который присутствовал при рождении Розы, вздрогнул, увидев девушку без одежды. А молодой человек, помощник доктора, в свою очередь, задохнулся от этого видения и в последующие годы всякий раз обмирал, когда вспоминал обнаженную Розу с длинными волосами, зеленым каскадом ниспадавшими до полу.

Пока они занимались своим ужасным делом, Нянюшка, устав от слез и молитв, почувствовала, что происходит нечто странное, встала, накинула шаль и собралась обойти дом. Она увидела на кухне свет, но дверь и ставни окон были закрыты. Она прошла тихими и холодными коридорами по трем корпусам дома и оказалась в гостиной. В полуоткрытую дверь увидела хозяина, который, опустив голову, шагал из угла в угол. Огонь в камине погас. Нянюшка вошла.

– Где же наша девочка, где Роза?

– С нею доктор Куэвас, Нянюшка. Побудь здесь и выпей со мной глоток, – попросил Северо.

Нянюшка стояла со скрещенными руками, поддерживая шаль на груди. Северо указал ей на диван. Она робко села рядом. Впервые с тех пор, что жила в доме, она была так близко от хозяина. Северо налил себе и ей по рюмке и залпом выпил свою. Обхватил голову руками, стал рвать волосы, бормоча сквозь зубы горькую молитву. Нянюшка, прямо сидевшая на краешке, совсем растерялась, видя, что он плачет. Подняла свою старую руку и привычным жестом погладила его по голове так же нежно, как все эти двадцать лет гладила каждого ребенка в семье. Он уткнулся ей в подол, вдохнул запах накрахмаленного передника и зарыдал как дитя, выливая все слезы, что скопились за его долгую мужскую жизнь. Нянюшка почесала ему спину, похлопала по ней, утешая, что-то пробормотала – так, как умела это делать, убаюкивая детей, и вполголоса пропела ему крестьянские песни, пока не успокоила. Они сидели рядом, попивали херес и время от времени плакали, вспоминая счастливые времена, когда Роза бегала по саду, удивляя бабочек своей красотой.

На кухне доктор Куэвас с помощником подготовили нужные инструменты и флаконы, надели клеенчатые передники, засучили рукава и приступили к расследованию. Без всякого сомнения, девушка проглотила огромную дозу крысиного яда.

– Он был предназначен для Северо, – проговорил доктор, моя руки в раковине для посуды.

Ассистент, потрясенный красотой усопшей, не пожелал оставить ее зашитой, словно мешок, и привел тело в порядок. Потом оба смазали швы ароматическими мазями и наложили пластыри, пропитанные душистым бальзамом. Они работали до четырех часов утра, пока доктор Куэвас не ушел, сраженный усталостью и печалью. Роза осталась на руках у помощника, который обмыл ее губкой, убирая капли крови, натянул вышитую сорочку, закрыв длинный шов, и пригладил волосы. Затем вымыл стол, не оставив даже следа своей работы.

Доктор Куэвас нашел в гостиной Северо и Нянюшку, пьяных от слез и хереса. Он объяснил Северо, что его подозрения подтвердились и что в желудке его дочери он обнаружил тот же смертельный яд, что и в подаренной водке. Тогда Северо вспомнил о предсказании Клары, и последние силы покинули его, он не мог свыкнуться с мыслью, что дочь умерла вместо него. Он рухнул как подкошенный, крича, что во всем виноват он сам, хвастун и честолюбец, что никто не просил его заниматься политикой, что было лучше, когда он служил простым адвокатом и был добрым отцом семейства, что отныне и навсегда он отказывается от проклятого кандидата, от либеральной партии и надеется, что никто из его потомков не станет ввязываться в политику, что это занятие для мясников и бандитов. Доктор Куэвас прибегнул снова к помощи хереса, который возымел нужное действие. Нянюшка и доктор подняли Северо на руки, отнесли в спальню и уложили в постель.

На следующий день Нивея и Северо пробудились поздно. Родственники убрали дом в соответствии с обрядом: занавеси были задернуты и украшены черным крепом, а вдоль стен стояли венки из цветов, аромат которых наполнял воздух. Катафалк соорудили в столовой. На длинном столе, покрытом черной тканью с золотой бахромой, стоял белый гроб Розы. Двенадцать свечей горели в бронзовых канделябрах, освещая девушку таинственным светом. Ее одели в подвенечное платье, на голове была корона из восковых цветов померанцевого дерева, которая хранилась ко дню свадьбы.

В полдень начали приходить родственники, друзья и знакомые, чтобы выразить свое сочувствие. В доме побывали самые заклятые политические враги Северо. Он смотрел на них, не отрываясь, пытаясь в каждой паре глаз прочесть тайну убийства, но видел лишь горе и невинность.

Во время бдения около усопшей мужчины бродили по залам и коридорам, тихо переговариваясь о своих делах. Они почтительно смолкали, когда подходил кто-то из семьи. Бросая в столовой последний взгляд на Розу, все вздрагивали, потому что ее красота в эти часы стала поистине несравненной. Женщины сидели в гостинной, куда составили стулья со всего дома. Здесь было удобно плакать, облегчая душу под предлогом чужой смерти и освобождаясь от собственных печалей. Плакали молча, не теряя достоинства. Кто-то тихо шептал молитвы. Домашняя прислуга обходила залы и коридоры, предлагая чай, коньяк и чистые носовые платки для сеньор. Сестры дель Валье, кроме юной Клары, собрались вокруг матери, точно стайка воронят. Нивея, выплакавшая все свои слезы, сидела выпрямившись на стуле. Она не издала ни стона и не проронила ни слова. Прибывавшие гости неспешно подходили к ней. Одни целовали ее в обе щеки, другие крепко обнимали, не сразу выпуская из объятий, но она, казалось, не узнавала даже самых близких. Она помнила смерть других своих детей, которых потеряла в раннем детстве или при рождении, но ни одна из утрат не произвела на нее столь губительного впечатления.

Все братья и сестры простились с Розой, целуя ее холодный лоб, лишь Клара не захотела войти в столовую. Девочку не стали неволить, зная ее сверхвпечатлительную душу. Она осталась в саду, опустившись на корточки рядом с Баррабасом, отказалась обедать и участвовать в бдении. Нянюшка вспомнила о ней и попыталась утешить, но Клара от нее отвернулась.

Несмотря на предосторожности, предпринятые Северо, гибель Розы вызвала скандал. Доктор Куэвас объявил, что смерть девушки последовала в результате внезапной пневмонии. Но слух, что она была отравлена вместо своего отца, все-таки распространился. Политических убийств в те времена почти не знали, а к яду в лучшем случае прибегали иные малодостойные женщины, и даже преступления во имя страсти совершались в открытую. Известие о покушении на Северо дель Валье было опубликовано в оппозиционной газете, где подспудно обвинялась олигархия. В статье говорилось, что консерваторы способны даже на такое, потому что не могут простить Северо дель Валье переход в стан либералов, несмотря на его социальное положение. Полиция попыталась начать расследование, но удалось узнать лишь то, что избиратели юга не имеют ничего общего с этим происшествием. Таинственный графин был случайно обнаружен в дверях подсобного флигеля в доме дель Валье в тот же день и в тот же час, когда был доставлен жареный боров. Кухарка предположила, что это часть того же самого подношения. Ни рвение полиции, ни поиски, предпринятые Северо с помощью частного детектива, не помогли найти убийцу, и тень этой безнаказанной мести легла отныне на последующие поколения. Это была первая из насильственных смертей, которыми будет отмечена судьба семьи.

* * *

Я все превосходно помню. Это был особенно счастливый день для меня, потому что обнаружилась новая жила, удивительная, неистощимая жила, которую я так долго искал все это время. Я был уверен, что за шесть месяцев накоплю достаточно денег для женитьбы, а через год смогу считать себя состоятельным человеком. Мне очень везло, ведь среди золотоискателей разорившихся больше, чем торжествующих победу, как я написал в письме к Розе тем вечером. Я чувствовал такой подъем и такое нетерпение, что пальцы так и летали по клавишам старой машинки, а с губ срывались радостные слова. Я печатал, когда услышал стук в дверь. Это был погонщик мулов, привезший телеграмму из поселка, посланную моей сестрой Ферулой. В ней сообщалось о смерти Розы.

Я должен был прочитать этот клочок бумаги трижды, прежде чем понял меру своего отчаяния. Единственное, что никогда не приходило мне в голову, это то, что Роза смертна. Я

страшно мучился, представляя, что ей наскучило ждать меня и она решила выйти замуж за другого, или что никогда не отыщется проклятая жила, которая принесет мне состояние, или что обрушится шахта и раздавит меня, как таракана. Я воображал любое из этих несчастий и еще многие другие, но никогда, несмотря на мой пресловутый пессимизм, из-за которого я всегда ожидал самого плохого, мысль о смерти Розы не приходила мне в голову. Я почувствовал, что без Розы жизнь для меня потеряла смысл. Из меня точно вышел воздух, как из проколотого шара, я утратил интерес к жизни. Я словно прирос к стулу, созерцая из окна пустыню. Не знаю, сколько времени прошло, пока душа медленно стала возвращаться ко мне. Первым моим чувством был гнев. Я колотил по слабым деревянным перегородкам дома, пока из пальцев не потекла кровь, разорвал на тысячи клочков письма, рисунки Розы и копии своих писем, которые хранил. Побросал поспешно в чемоданы одежду, бумаги и брезентовый мешочек, где было золото, а потом отправился на поиски управляющего, чтобы передать поденную плату рабочим и ключи от склада. Погонщик мулов предложил довезти меня до поезда.

Большую часть ночи мы проехали верхом на мулах, укрывшись кастильскими одеялами от густого тумана. Мы медленно продвигались в бесконечной глуши, где только чутье моего проводника служило ручательством, что мы прибудем по назначению, потому что не было никаких знаков на нашем пути. Ночь была звездной, светлой, я чувствовал, как холод пробирал меня до костей, сжимал кулаки, уходил в себя. Я все думал о Розе, страстно и неразумно желая, чтобы известие о ее смерти не было правдой. Я в отчаянии молил Небо, чтобы все это оказалось ошибкой и, воскресшая от силы моей любви, она вернулась к жизни. Я погружался в свое горе, проклиная мула, шедшего слишком медленно, Ферулу, передавшую мне горькую весть, Розу – за то, что она умерла, и Бога, допустившего это. На горизонте стало светать, и я увидел, как гаснут звезды и появляются первые краски зари, расцвечивающие оранжевым тоном пейзажи севера. Рассвело, и я пришел в себя. Покорился своему несчастью и попросил если не воскресения ее, то хотя бы того, чтобы я вовремя приехал и увидел ее до погребения. Мы прибавили шаг, и спустя час погонщик мулов попрощался со мной на крохотной станции, мимо которой поезд проходил по узкоколейке, соединяя цивилизованный мир с этой пустыней.

Более тридцати часов я проехал без еды, забыв даже о питье, но мне удалось прибыть в дом семьи дель Валье до похорон. Говорят, я вошел в дом весь в пыли, без сомбреро, грязный и небритый, изнемогая от жажды и ярости, громко вопрошая о своей невесте. Малышка Клара, в то время худенькая и некрасивая девочка, вышла мне навстречу, когда я вбежал в патио, взяла меня за руку и молча провела в столовую. Там в белом гробу покоилась Роза, и спустя три дня после гибели тление не тронуло ее, она была еще в тысячу раз прекраснее, чем прежде. Умерев, Роза превратилась в сирену, какой тайно была всегда.

– Будь проклята! Ты вырвалась из моих рук! – Говорят, что я так закричал, упав на колени возле нее, приведя в ужас родственников. Никто не мог понять моего отчаяния, а ведь я провел два года, роя землю в надежде стать богатым, с единственной целью повести к алтарю эту девушку. Ее смерть убила и меня одним ударом.

Вскоре подъехала карета – огромный экипаж, черный, сверкающий. В него была впряжена шестерка лошадей, украшенных плюмажем, как тогда полагалось. Лошадьми правили два кучера в ливреях. Мы отъехали от дома во второй половине дня под слабым дождем в сопровождении процессии экипажей. По тогдашнему обычаю, женщины и дети на похоронах не присутствовали, это было уделом мужчин, но Кларе удалось в последнюю минуту затесаться в процессию и проводить сестру. Я почувствовал ее ручку в перчатке, вцепившуюся в мою, и на протяжении всего пути она была рядом со мной, маленькая молчаливая тень, наполнявшая мою душу несказанной нежностью. В тот момент я даже не заметил, что Клара не проронила ни звука за эти два дня, и пройдут еще три дня, прежде чем домашних встревожит ее молчание.

Северо дель Валье и его старшие сыновья подняли на носилках белый гроб с серебряными заклепками и установили его в открытой нише пантеона. Одетые в траур, они были мол-

чаливы и не плакали, как и полагается по обычаям моей страны, где привыкли переносить горе с достоинством. После того как закрылись решетки склепа и удалились родственники, друзья и могильщики, я остался там. Скорее всего, я напоминал мрачную ночную птицу, с развевающимися на ветру лапами пиджака, высокий и худой, каким я был тогда, до того как исполнилось проклятие Ферулы и я стал расти вниз. Небо было серое, собирался дождь. Вероятно, было холодно, но в гневе я этого не чувствовал. Я не мог оторвать взгляда от маленького мраморного прямоугольника. Там было выгравировано имя Розы, красавицы Розы, и даты, обозначающие ее короткий земной путь. Я думал о том, что я потерял два года, мечтая о Розе, работая для Розы, посылая письма Розе, желая Розу, а в конце концов не мог быть даже погребен рядом с ней. Я размышлял о годах, которые мне предстояло прожить без нее, и пришел к заключению, что жить ни к чему, ведь я уже никогда не встречу женщину с зелеными волосами. Если бы мне тогда сказали, что я проживу более девяноста лет, я бы застрелился.

Я не расслышал шагов кладбищенского сторожа, который подошел ко мне сзади. Поэтому я очень удивился, когда он коснулся моего плеча.

– Как вы смеете трогать меня? – прорычал я.

Он отступил в испуге, бедняга. Капли дождя печально падали на могильные цветы.

– Простите, кабальеро, уже шесть часов, я должен закрывать, – кажется, так он сказал мне.

Он попытался объяснить, что правила запрещают посторонним, не являющимся работниками кладбища, оставаться здесь после захода солнца, но я не дал ему договорить, сунул несколько купюр в руки и толкнул, чтобы он шел себе и оставил меня в покое. Я видел, как сторож уходит, посматривая на меня через плечо. Наверное, он подумал, что я сумасшедший, один из тех умалишенных некрофилов, что бродят иногда по кладбищам.

Это была долгая ночь, самая долгая, возможно, в моей жизни. Я провел ее, сидя у могилы Розы, разговаривая с ней, сопровождая ее в путешествии в неведомое. Я вспоминал ее совершенное лицо и проклинал свою судьбу. Даже упрекал Розу. Я не сказал ей, что за все это время не знал других женщин, кроме стареющих проституток, тех, что служили всему лагерю скорее по доброй воле, нежели благодаря своим достоинствам. Я рассказал, как жил среди грубых людей, не признававших закона, питался горохом и пил болотную воду. Я думал о ней дни и ночи, неся в душе ее образ подобно знамени, которое придавало мне силы снова и снова рубить породу. Большую часть года я страдал животом, замерзал от леденящего холода по ночам и сходил с ума от дневного жара – и все это с единственной целью жениться на ней. Но вот она уходит, умирает, изменяя мне до воплощения в жизнь моих мечтаний, оставляя меня в безысходном отчаянии. Я сказал ей, что она посмеялась надо мной, я предъявил ей счет за то, что мы никогда не оставались наедине, что поцеловал я ее только раз. Мне пришлось соткать свою любовь из воспоминаний и неудовлетворенных желаний, из выцветших, всегда опаздывавших писем, которые не могли передать ни страсть моего сердца, ни боль разлуки. Я сказал ей, что эти годы на шахте непоправимо потеряны, что, если бы я знал о кратковременной ее жизни в этом мире, я бы украл деньги для женитьбы и построил дворец, который украсил бы сокровищами морских глубин: кораллами, жемчугом, перламутром. Я бы оберегал ее от всех, и со мною она не выпила бы яду, предназначенного ее отцу, и жила бы тысячу лет. Я говорил ей о ласках, которые я берег для нее, о подарках, которыми собирался ее удивить, о том, как бы я постарался, чтобы она полюбила меня и стала счастливой. В общем, я говорил ей о безумствах, в которых я никогда бы не признался, если бы она могла меня слышать. Той ночью я решил, что навсегда потерял способность влюбляться, что никогда больше не смогу смеяться и лелеять мечты. Ведь «никогда» – это много времени. Я убедился в этом за долгую жизнь. Мне почудилось, что ярость растет во мне, как злокачественная опухоль, делая меня неспособным быть нежным и милосердным. Над смятением и гневом возобладало самое сильное чувство этой ночи – обманутое желание: я никогда уже не смогу погладить Розу, узнать ее тайны, рас-

пустить зеленый поток волос, погрузиться в ее глубины. В отчаянии я вспоминал последний миг, когда увидел ее лицо, полузакрытое атласными складками девственного ложа, свадебный венок из флердоранжа и четки в ее руках. Я не знал, что точно так, с флердоранжем и четками, я увижу ее на мгновение через много-много лет.

С первыми лучами солнца вернулся сторож. Он, должно быть, почувствовал жалость к полузамерзшему безумцу, который провел ночь среди кладбищенских призраков. Он протянул мне свою флягу.

– Горячий чай. Попейте, сеньор, – предложил мне сторож.

Я оттолкнул его и, бормоча проклятия, ушел, яростно зашагал среди рядов могил и кипарисов.

* * *

Ночью, когда доктор Куэвас с помощником выясняли причину смерти Розы, Клара лежала в постели с открытыми глазами, дрожа в темноте. Она мучила себя сомнениями: не потому ли умерла ее сестра, что незадолго до этого она об этом сказала. Она считала, что, подобно тому как сила ее воображения может передвигать солонку, точно так же она может стать причиной смертей, землетрясений и других несчастий. Напрасно Нивея еще раньше объясняла ей, что Клара не может вызывать события – лишь знать о них заранее. Она была в отчаянии. Девочке пришло в голову, что, если бы она смогла быть рядом с Розой, она чувствовала бы себя лучше. Она встала с кровати и в одной рубашке, босиком пошла в спальню, которую делила со старшей сестрой, но не нашла ее в постели, где видела в последний раз. Отправилась искать ее по дому. Вокруг царили мрак и молчание. Нивея спала после лекарств, которые ей дал доктор Куэвас, а братья и прислуга рано разошлись по своим комнатам. Замерзшая и напуганная, Клара обошла залы, скользя вдоль стен. Тяжелая мебель, массивные занавеси в складках, картины на стенах, погашенные люстры, кусты папоротника в фаянсовых вазах – все словно угрожало ей. Она заметила, что из гостиной сквозь щель под дверью пробивается свет, и готова была войти, но побоялась встретить там отца, который приказал бы вернуться в постель. Тогда она пошла на кухню, надеясь найти утешение у Нянюшки. Она пересекла главный дворик среди камелий и карликовых апельсиновых деревьев, прошла по комнатам второго корпуса дома и по темным коридорам, где слабый свет газовых фонарей горел всю ночь, чтобы отпугивать летучих мышей и прочих ночных тварей. Клара оказалась в третьем дворике, где располагались подсобные помещения и кухни. Здесь дом терял свой величественный вид и царил беспорядок псарни, курятника и комнат прислуги. Еще дальше стояла конюшня. Там отдыхали старые лошади, на которых еще ездила Нивея, несмотря на то что Северо дель Валье одним из первых в городе купил автомобиль. Дверь и ставни кухни были закрыты. Чутье подсказало Кларе, что там происходит что-то необычное, она попыталась туда заглянуть, но ее нос едва доходил до подоконника. Клара придвинула ящик к стене, взобралась на него и обнаружила щель между деревянными ставнями и оконной рамой, покореженной от времени. Тут она увидела, что происходит внутри.

Милый, добродушный доктор Куэвас, который помогал ей родиться и лечил от всех детских болезней и приступов астмы, превратился в толстого и мрачного вампира, совсем как на картинках в книгах дяди Маркоса. Доктор наклонился над столом, где Нянюшка обычно готовила еду. Рядом с ним стоял какой-то незнакомый молодой человек, бледный, как луна, в рубашке, запачканной кровью. Его глаза словно обезумели от любви. Клара увидела белые ноги своей сестры, ее босые ступни. Девочка задрожала. В это мгновение доктор Куэвас отошел, и ее глазам открылось жуткое зрелище: Роза лежала на столе с глубоким разрезом на теле, а ее внутренности были вынуты и сложены рядом, длиннющие зеленые волосы, словно папоротник, свисали со стола до самого пола, запачканного кровью. Глаза Розы были закрыты, но из-за игры теней и света Кларе показалось, что она различила выражение мольбы и унижения на лице старшей сестры.

Клара, застыв на ящике, решилась досмотреть все до конца. Еще долго следила она за всем происходящим сквозь щель, не замечая, что замерзает. Наконец мужчины перестали потрошить Розу, вводить жидкость в вены, омыwać ее внутри и снаружи ароматным уксусом и смазывать лавандовым маслом. Потом тело наполнили тампонами для бальзамирования и зашили кривой иглой, какой шьют матрацы. Доктор Куэвас умылся, вытер слезы, надел черный пиджак и вышел с выражением смертельной тоски на лице. Клара видела, как юный незнакомец поцеловал Розу в губы и, тяжело дыша, стал целовать ее шею, грудь, ноги. Потом вымыл ее губкой, надел на нее вышитую сорочку, причесал волосы. Клара оставалась, пока не вернулись Нянюшка и доктор Куэвас, они одели Розу в белое платье, возложили ей на голову флердоранжевый венок, который она хранила в шелковой бумаге ко дню своей свадьбы. Ассистент поднял Розу с такой трогательной нежностью, как если бы он держал ее на руках, чтобы впервые перенести через порог своего дома, будь она его невестой... Клара смогла пошевелиться, лишь когда наступил рассвет. Тогда она проскользнула в постель, чувствуя внутри себя молчание целого мира. Молчание овладело ею, она перестала говорить. Клара не говорила в течение девяти лет после этих событий, пока у нее снова не появился голос и она смогла сообщить о предстоящем замужестве.

Глава 2

Лас-Трес-Мариас

Эстебан Труэба ужинал с сестрой Ферулой в столовой своего дома, среди старомодной викторианской мебели, которая в далеком прошлом была прекрасна. Все тот же жирный суп, их ежедневное блюдо, и все та же пресная рыба, которую они ели по пятницам. Прислуживала им кухарка, работавшая у них всю жизнь и получавшая плату, что была в свое время положена рабам. Старая женщина без конца сновала из кухни в столовую, согбенная и полуслепая, но все еще бодрая, и выставляла и уносила блюда весьма торжественно. Донья Эстер Труэба не ела в столовой со своими детьми. По утрам она неподвижно сидела в кресле, смотрела из окна, что делается на улице, видела, как годы разрушают квартал, — тот квартал, который в годы ее юности был великолепен. После завтрака ее перемещали в постель, устраивая так, чтобы она могла полусидеть, не мучаясь от артрита, и тогда ее главным занятием становилось чтение трогательно-жалостливых книжечек о жизни и чудесах святых. Так она проводила время до следующего дня, когда повторялось все то же самое. Единственный ее выход на улицу происходил по воскресеньям, когда она присутствовала на обедне в церкви Святого Себастьяна в километре от дома, куда Ферула и служанка привозили ее в кресле на колесах.

Эстебан перестал выковыривать кости из беловатой мякоти рыбы и положил вилку на тарелку. Он сидел прямо, так же как ходил, очень прямо, слегка откинув назад голову и немного склонив ее набок, смотрел искоса, со смесью близорукости, гордости и недоверия. Это выражение казалось бы неприятным, если бы глаза не были удивительно светлыми, а взгляд мягким. Его выправка и горделивый вид скорее подходили бы человеку полному и небольшому, который хотел бы казаться выше, а Эстебан и так был высокого роста, метр восемьдесят, и очень худощавый. Тело его напоминало устремленную ввысь вертикаль, увенчанную высоким лбом и львиной гривой, которую Эстебан зачесывал назад. Впечатление подчеркивали тонкий орлиный нос и летящие брови. Он был ширококостный, а ладони напоминали мастерки. Ходил он большими шагами, двигался энергично и казался очень сильным, обладая при этом заметной грацией. Лицо было красиво, несмотря на суровое, мрачное и почти всегда недовольное выражение. Отличительной чертой его характера была вспыльчивость и быстрый переход к ярости, он часто терял голову; в детстве он бросался на пол с пеной у рта, не в силах даже дышать от злости, и дрыгал ногами, словно в него вселился дьявол. Чтобы снова овладеть собой, он должен был окатиться холодной водой. Позже он научился сдерживаться, но и в конце жизни страдал от приступов внезапного бешенства.

— Я не вернусь на шахту, — сказал он.

Это были первые слова, которыми он обменялся с сестрой за столом. Он решил так прошедшей ночью, когда понял, что теперь не сможет в поисках внезапного обогащения вести жизнь анахорета. Концессия на шахту была действительно еще два года, время, достаточное для тщательной разработки удивительной жилы, которую он открыл, но он считал, что, хотя управляющий и обкрадывал его немного или же не умел работать так, как умел он, нет никакого смысла заживо хоронить себя в пустыне. Он не хотел стать богатым такой ценой. Впереди была жизнь — чтобы разбогатеть, если удастся, чтобы скучать и ожидать своей смерти без Розы.

— Чем-то ты должен заняться, Эстебан, — ответила Ферула. — Знаешь, мы тратим очень мало, почти ничего, но мамины лекарства стоят дорого.

Эстебан взглянул на сестру. Это была еще красивая женщина, пышнотелая, с овальным лицом римской мадонны, но ее бледная кожа, желто-красный румянец и тревожный взгляд уже выдавали уродство смилившейся со своей участью старой девы. Она спала в смежной комнате, рядом с доньей Эстер, готовая в любой миг бежать к ней на помощь, поить ее травами, делать

ванночки, поправлять подушки. Душа ее была истерзана. Она испытывала тайную радость от унижения и грубой работы, ведь она верила, что тяжким путем жестоких страданий завоеует Небо, и поэтому наслаждалась, очищая гнойнички на больных ногах матери, обмывая ее, погружаясь в ее смердящие запахи и в ее несчастья, исследуя ее ночной горшок. И так же, как ненавидела она себя за это постыдное и жалкое наслаждение, она ненавидела мать за то, что та доставляла ей это наслаждение. Ферула заботилась о ней, не жалуясь, но хитроумно старалась заставить ее платить за свою погубленную жизнь. Открыто об этом не говорилось, но это стояло между ними всегда: дочь принесла свою жизнь в жертву матери и осталась старой девой по этой причине. Из-за болезни матери Ферула отвергла двух женихов.

Ферула не говорила об этом, но все это знали. У нее были резкие, неловкие движения и такой же характер, как у брата, но жизнь и женская сущность обязывали ее сдерживаться и обуздывать себя. Она казалась столь духовно совершенной, что приобрела славу святой. Ее считали примером самоотречения в угоду донье Эстер и самоотверженности в воспитании единственного брата. Так повелось с тех пор, когда заболела мать и умер, оставив их в нищете, отец. Ферула обожала своего брата Эстебана, когда тот был маленьким. Спала с ним, купала, брала на прогулки, работала от зари до зари, шила одежду чужим людям, только чтобы заплатить за его учебу, и проплакала от злости и бессилия весь день, когда Эстебан должен был пойти работать в нотариальную контору, потому что ее заработка им не хватало на еду. Она заботилась о брате и служила ему, как теперь служила матери, и затянула его в невидимую сеть вины за неоплаченное благодеяние. Едва надев брюки, мальчик стал отдаляться от нее. Эстебан точно помнил минуту, когда понял, что от сестры на его жизнь падает зловещая тень. В тот день он получил первое жалованье. Он решил оставить себе пятьдесят сентаво и осуществить мечту, которую лелеял издавна: выпить чашку кофе по-венски.

Он много раз уже видел в окне французского отеля официантов, которые проходили с подносами, парящими над головой, уставленными сокровищами: высокими хрустальными бокалами, которые были увенчаны взбитыми сливками и украшены чудесной замороженной вишней. В день первой полочки он, прежде чем осмелился войти, прошел мимо этого ресторана несколько раз. Наконец, с беретом в руке, робко переступил порог и вошел в роскошную залу, где висели люстры со стеклянными подвесками и стояла стильная мебель. Он вошел с ощущением, что все смотрят на него, на его слишком узкий костюм и старые башмаки. Он сел на краешек стула, уши горели; сделал заказ официанту чуть слышным голосом. Он видел в зеркалах, как снуют люди, ожидал с нетерпением, заранее предвкушая то удовольствие, о котором столько раз мечтал. И вот ему принесли кофе по-венски, гораздо более восхитительный, чем он представлял себе, роскошный, дивный, с тремя медовыми галетами. Как зачарованный, Эстебан долго смотрел на бокал. Наконец осмелился взять ложечку с длинной ручкой и со вздохом счастья погрузил ее в сливки. У него прямо слюнки потекли. Он готов был продлить это мгновение как можно дольше, до бесконечности. Стал размешивать, наблюдая, как темная жидкость в бокале набегают на пену сливок. Размешивал, размешивал, размешивал... и вдруг краешек ложки ударился о стекло и появилась дырка, куда, словно под давлением, выплеснулся кофе. В ужасе – под веселыми взглядами посетителей за соседними столиками – Эстебан увидел, что все содержимое бокала пролилось на его единственный костюм. Он встал, бледный от поражения, и, оставляя за собой след кофе на мягких коврах, вышел из французского отеля с проигрышем в пятьдесят сентаво.

Он пришел домой мокрый, злой, расстроенный. Узнав, что произошло, Ферула желчно сказала: «Это потому, что тратишь лекарственные деньги мамы на свои капризы. Вот Бог и наказал тебя». В эту минуту Эстебан и увидел ясно: сестра жаждет подчинить его, чтобы и он чувствовал себя виноватым, и понял, что должен спастись. Брат все больше отдалялся от сестры, она все больше становилась ему неприятна. Его освобождение из-под ее опеки Ферула воспринимала как несправедливость. Когда он влюбился в Розу и она увидела, что брат в отча-

янии, словно мальчик, что он просит ее помочь, что снова нуждается в ней, – а он ходил за ней по пятам, умоляя поближе познакомиться с семьей дель Валье, поговорить с Розой, подкупить Нянюшку, – Ферула снова почувствовала себя нужной Эстебану. На время они, казалось, помирились. Но это примирение было недолгим; Ферула быстро поняла, что она стала нужна Эстебану только из-за Розы. И очень обрадовалась, когда он уехал на прииск.

С пятнадцати лет, когда он начал работать, Эстебан смог взять на себя содержание семьи и собирался следовать своему намерению, но Феруле это казалось недостаточным. Ей было тяжело чувствовать себя запертой в пахнущих старостью и лекарствами стенах, просыпаться от стонов больной, следить за часами, чтобы вовремя дать лекарство, постоянно испытывать скуку, усталость, тоску, а ее брат пренебрегал своими обязанностями. Он свободный, он будет счастлив, он добьется успеха. Он может наплодить детей, познать любовь. В день, когда она посылала ему телеграмму, извещающую о смерти Розы, она испытала странное чувство, почти радость.

– Ты должен работать где-то, – повторила она.

– Вы ни в чем не будете нуждаться, пока я жив, – ответил Эстебан.

– Легко сказать, – возразила Ферула, вытаскивая застрявшую в зубах рыбную косточку.

– Я поеду в деревню, в Лас-Трес-Мариас.

– Там все слишком запущено, Эстебан. Я всегда говорила тебе, что лучше продать эту землю, но ты упрям как осел.

– Никогда не следует продавать землю. Это единственное, что остается, когда уже нет ничего.

– Ну нет. Земля – это просто романтика, а что обогащает людей, так это верный нюх в делах, – возразила Ферула. – Но ты, правда, всегда твердил, что в один прекрасный день отправишься жить в деревню.

– Вот и настал этот день. Я ненавижу этот город.

– Почему ты не скажешь откровенно, что ненавидишь этот дом?

– И его тоже, – грубо ответил он.

– Мне бы очень хотелось родиться мужчиной, чтобы я тоже смогла уехать! – проговорила она с ненавистью.

– Я тоже врагу не пожелаю родиться женщиной, – согласился он.

Они закончили обед в молчании.

Брат и сестра отдалились друг от друга, и единственным, что еще связывало их, была мать и смутное воспоминание о любви, которую они испытывали друг к другу в детстве. Они родились в некогда богатой семье, помнили падение и разорение отца, постепенно подкрадывающуюся болезнь матери. Донья Эстер страдала артритом с молодых лет, сперва окаменел позвоночник, потом она стала жить точно замурованная в четырех стенах, с трудом передвигаясь по дому, и наконец, когда перестали сгибаться колени, она, уже будучи вдовой, в полном отчаянии окончательно переместилась в кресло на колесах. Эстебан вспомнил свое детство, узкие костюмчики, вервие святого Франциска, которое заставляли его носить неизвестно во имя каких обетов матери и сестры, вспомнил залатанные рубашки и свое одиночество. Ферула, которая была на пять лет старше, стирала и крахмалила ему рубашки чуть ли не каждый день, чтобы он всегда хорошо и опрятно выглядел. Она напоминала ему, что по линии матери он носит самое благородное и знатное имя во всем вице-королевстве Лимы. Труэба стал не более чем печальным происшествием в жизни доньи Эстер. Она должна была выйти замуж за человека своего круга, но безумно влюбилась в сумасброда, эмигранта в первом поколении, и тот в течение нескольких лет промотал ее приданое, а потом и все наследство. Но к чему Эстебану была голубая кровь его предков, если в доме не хватало денег на оплату счетов из магазина и он был вынужден ходить в колледж пешком, потому что на трамвай не было ни сентаво. Он вспоминал, что в колледж его одевали, обернув газетами грудь и спину, потому что у него не

было нижнего шерстяного белья, а его пальто дышало на ладан. Он сильно страдал, воображая, что его товарищи могут услышать, как слышал он, шуршание бумаги, трущейся о тело. Зимой единственным источником тепла была жаровня в комнате матери, где, экономя свечи и уголь, собирались все трое. Это было детство, полное лишений, трудностей, бесконечных ночных молитв, обращенных к Деве Марии, страхов и чувства вины. Детство прошло, а в Эстебане остались злоба и не знающая меры гордыня.

* * *

Два дня спустя Эстебан Труэба уехал в деревню. Ферула проводила его на вокзал. Прощаясь, она холодно поцеловала брата в обе щеки, подождала, пока он поднимется в вагон со своими двумя кожаными чемоданами, теми самыми, с бронзовыми застёжками, которые он купил, когда ехал на прииск, и которые должны были служить ему всю жизнь, как обещал продавец. Она просила его беречь себя и навещать их время от времени, сказала, что будет скучать, но они знали: им суждено не видеться долгие годы, и в глубине души оба чувствовали облегчение.

– Сообщи, если маме станет хуже! – крикнул Эстебан в окно, когда поезд тронулся.

– Не беспокойся! – ответила Ферула, помахав платком с перрона.

Эстебан Труэба откинулся на спинку, обтянутую красным бархатом, и возблагодарил умение англичан конструировать вагоны первого класса так, чтобы в них можно было путешествовать как настоящему кабальеро – без куриц, корзин, картонных коробок, перевязанных веревками, без хныканья чужих детей, которое невозможно переносить. Он поздравил себя с тем, что в первый раз в своей жизни решил потратиться на самый дорогой билет, и подумал, что это и есть те мелочи, что отличают кабальеро от деревенщины. Поэтому, хотя положение его было не из завидных, с этого дня он решил доставлять себе маленькие удовольствия, какие помогут ему чувствовать себя богачом.

– Я не желаю снова становиться бедным! – сказал он себе, думая о золотой жиле.

Из окошка вагона он видел, как сменяют друг друга пейзажи центральной долины – обширные пространства, тянущиеся вдоль подножия горной цепи, богатые виноградники, пшеничные поля, луга люцерны и чудоцвета. Он сравнивал эти долины с бесплодной равниной на севере, где, погрузившись в яму, провел два года среди дикой природы и пейзажей, напоминавших лунные. Правда, он не уставал любоваться красками пустыни: синими, темно-лиловыми, желтыми красками минералов, лежащих на поверхности земли.

– Моя жизнь становится другой, – пробормотал он. Закрыв глаза и уснул.

Он вышел на станции Сан-Лукас. Жалкое место. На деревянном перроне с крышей, изъеденной термитами и разрушенной непогодой, не было видно ни души. Долина просматривалась сквозь туман, что поднимался после ночного дождя с влажной земли. Далекие горы были закрыты облаками, и только заснеженная вершина вулкана виднелась отчетливо. Он оглянулся вокруг. В детстве – в то единственно поистине счастливое время, до того как отец окончательно разорился, предался вину и обрек себя на бесчестье, – он ездил верхом по здешним краям. Он вспоминал, как жил летом в Лас-Трес-Мариасе, но это было так давно, что воспоминание почти стерлось, и он не узнавал ничего вокруг. Эстебан обошел станцию. Единственная дверь была заперта на замок. Висело какое-то объявление, написанное карандашом, так что слова разобрать было невозможно. Он услышал, как поезд за спиной тронулся; вагоны, оставляя за собой клубы белого дыма, исчезали. Он был один на этой тихой платформе. Подхватив чемоданы, Эстебан пошел по глинистой тропинке, ведущей в поселок. Он шел минут десять, радуясь, что нет дождя, ведь он и так едва тащился с тяжелыми чемоданами по этой дороге, которую дождь в считанные секунды превратил бы в непроходимое болото. Подойдя к селению, он увидел дымки над трубами и вздохнул с облегчением. Ему на миг показалось сначала, что эта деревушка покинута, такой печальной и бедной она выглядела.

Он остановился у первых домов. Ни души. На единственной улице, застроенной хижинами из необожженного кирпича, царила тишина; Эстебану почудилось, что все это ему снится. Он подошел к ближайшему дому – без единого окна, но с открытой дверью. Оставил свои чемоданы у порога и вошел, громко крикнув. Внутри было темно; свет шел только от дверного проема, и Эстебану потребовалось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к полутьме. Тогда он различил на земляном, утрамбованном полу детей, их было двое, и они посмотрели на него огромными испуганными глазами. В заднем дворике он разглядел идущую в дом женщину, которая вытирала руки о край передника. Увидев его, она инстинктивно легким жестом поправила прядь волос, падавшую ей на лоб. Он поздоровался, и она ответила, закрывая рот рукой, чтобы скрыть беззубые десны. Труэба объяснил, что ему нужна повозка, но женщина, казалось, не поняла его и только с застывшим взглядом прикрыла детей полкой передника. Он вышел, подхватил багаж и двинулся дальше.

Дойдя до конца деревни, так никого и не увидев, он уже начал приходить в отчаяние, но вдруг расслышал позади цокот копыт. На полуразвалившейся телеге среди вязанок дров сидел крестьянин. Труэба остановился и жестом велел возничему придержать лошадь.

– Довезите меня до Лас-Трес-Мариаса. Я хорошо заплачу! – крикнул он.

– Что вам там нужно, кабальеро? – спросил мужчина. – Это же брошенная земля, одни камни.

Но взять Эстебана согласился и помог водрузить багаж на телегу. Труэба уселся рядом на козлы. Из домов выскочили дети и побежали вслед за телегой. Труэба почувствовал себя как никогда одиноким.

В одиннадцати километрах от Сан-Лукаса, тащась по разбитой, в рытвинах, поросшей сорняками дороге, они увидели деревянную дощечку с названием владения. Она повисла на разорванной цепи и на ветру билась о столб, издавая глухие звуки, напоминавшие траурные удары барабана. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что для восстановления хозяйства потребуются исполинские усилия. Сорная трава поглотила тропу, куда ни кинь взгляд – всюду скалы, кустарник и лес. Ни намек на пастбища, ни следов виноградников, которые он помнил, никого, кто бы вышел навстречу. Телега двигалась медленно, по чуть заметной колее, видневшейся среди сорняков. Через некоторое время показался родовой дом. Он еще не рухнул, но предстал как страшное видение: всюду на земле обломки, проволока, мусор. Крыша наполовину провалилась, а дикие выюнки проникли в окна и покрыли почти все стены. Дом окружали небеленые хижины из необожженного кирпича, без окон, под черными от копоти соломенными крышами. В патио свирепо грызлись две собаки.

Скрип тележных колес и ругань дровосека привлекли внимание крестьян, живших в хижинах, и они мало-помалу стали выходить на свет божий. На только что прибывших смотрели удивленно и недоверчиво. Прошло пятнадцать лет, как они в глаза не видели никакого хозяина и привыкли считать, что его нет вовсе. Они не узнавали в этом высоком и надменном мужчине мальчика с каштановыми кудрями, который много лет назад играл в этом самом патио. Эстебан смотрел на них и тоже не мог никого вспомнить. Группка выглядела жалкой: несколько женщин неопределенного возраста с морщинистой и сухой кожей, некоторые беременные, одетые в выцветшие лохмотья, босиком. Он насчитал по крайней мере дюжину детей всех возрастов, самые маленькие были голыми. Другие выглядывали из-за дверей, не осмеливаясь выйти. Эстебан жестом поздоровался со всеми, но ему никто не ответил. Дети отбежали и спрятались за женщин.

Труэба сошел с телеги, взял чемоданы и дал дровосеку несколько монет.

– Если хотите, я подожду, хозяин, – сказал возничий.

– Нет. Я здесь остаюсь.

Он пошел к дому, толчком открыл дверь. Света внутри было достаточно, он входил сквозь сломанные ставни и дыры в потолке, из-под обвалившейся черепицы. Все было покрыто

пылью и паутиной, выглядело вконец запущенным; никто из крестьян не решился оставить свою хижину и занять пустой хозяйский дом. Мебель не тронули, она была той же, что и в его детстве, на своем прежнем месте, но только все разваливалось, было мрачнее, уродливее того, что он мог предположить. Весь дом покрывал слоистый ковер из пыли, сухих листьев и травы. Пахло могилой. Тощая собака остервенело лаяла на него, но Эстебан Труэба не обращал на нее внимания, и в конце концов собака, устав от лая, ушла в угол и принялась чесаться. Он поставил чемоданы на стол и пошел осматривать дом; он тщетно пытался побороть подступившую грусть, что постепенно овладела им. Обойдя все комнаты, он убедился: время не пощадило в доме ничего, увидел бедность, грязь и почувствовал, что эта яма похуже шахты на прииске. Кухня была большая, грязная, с высоким потолком и стенами, черными от дыма. Везде виднелась плесень, все одряхлело, с гвоздей на стенах еще свешивались кастрюли и медные и железные сковородки, которыми не пользовались уже пятнадцать лет и до которых никто пальцем не дотронулся за все эти годы. В спальнях стояли те же кровати и огромные шкафы с круглыми зеркалами, которые в те давние времена купил отец, но матрасы превратились в кучу сгнившей шерсти, где кишела всякая насекомая мелкота. Он услышал тихую возню мышей в потолочных перекрытиях. Не мог понять, из дерева или камня выложен пол, потому что нигде не было просвета, все покрывала грязь. Там, где была гостиная, еще стоял немецкий рояль со сломанной ножкой и желтыми клавишами. Эстебан тронул клавиши, и рояль откликнулся звучанием расстроенного клавесина. На полках еще лежали книги с изъеденными сыростью страницами, а на полу – старые потрепанные журналы, разбросанные ветром. Из мягких стульев выбились пружины, а крысы устроили себе гнездо в кресле, в том кресле, где когда-то сживала его мать и вязала, пока из-за болезни ее руки не скрючились, окостенев.

По завершении осмотра все стало ясно. Эстебан понимал, что впереди его ждет титанический труд, ведь если дом так запущен, то и все остальное не в лучшем состоянии. Его подмывало вновь погрузить чемоданы на телегу и вернуться туда, откуда приехал, но он тут же отбросил эту мысль и решил, что если что-то и может смягчить его боль и гнев от утраты Розы, то только работа на этой разоренной земле, работа до боли в пояснице. Он снял пальто, глубоко вздохнул и вышел в патио, где его все еще ждал дровосек. Поодаль, как свойственно деревенским, стояли дети, женщины и старики. Смотрели они с любопытством. Труэба сделал два шага навстречу им, и группа чуть подалась назад. Он окинул взглядом крестьян и попытался изобразить дружескую улыбку, предназначенную грязным, сопливым детям, старикам с гноющимися глазами и несчастным женщинам, но получилась гримаса.

– А где же мужчины? – спросил он.

Единственный мужчина сделал шаг вперед. Может быть, ему было столько же лет, что и Эстебану Труэбе, но выглядел он старше.

– Ушли, – ответил он.

– Как тебя зовут?

– Педро Сегундо Гарсиа.

– Я здешний хозяин. Праздник кончился. Начинаем работать. Кому это не нравится, пусть сразу же уходит. У того, кто останется, не будет недостатка в еде, но ему придется потрудиться. Мне не нужны лодыри и нахалы. Вы слышите меня?

Удивленные, они смотрели друг на друга. Они не поняли и половины слов, но сразу оценили голос хозяина.

– Понятно, хозяин, – ответил Педро Сегундо Гарсиа. – Идти нам некуда, мы всегда жили здесь. Здесь и останемся.

Чей-то ребенок, отбежав, присел покакать, а шелудивая собака принялась нюхать его дерьмо. Эстебана чуть не стошнило, он приказал присматривать за ребенком, расчистить патио и прикончить собаку. Так началась новая жизнь, которая со временем помогла ему забыть Розу.

* * *

Никто не сможет убедить меня в том, что я не был хорошим хозяином. Любой, кто раньше видел Лас-Трес-Мариас во времена запустения и увидел бы теперь, согласился бы, что это образцовое хозяйство. Поэтому я не могу принимать всерьез сказки моей внучки о классовой борьбе, ведь если смотреть в корень, нынешние крестьяне гораздо хуже тех, какие были пятьдесят лет назад. А я был для них точно отец. Всех нас подвела аграрная реформа.

Чтобы вытащить Лас-Трес-Мариас из нищеты, я пожертвовал всем капиталом, что успел приобрести для женитьбы на Розе, и всем, что мне присылал управляющий с шахты, но не деньги спасли эту землю, а труд и организация труда. По окрестностям прошел слух, что в Лас-Трес-Мариасе появился новый хозяин и что мы вывозим на быках камни с полей и распахиваем пастбища для посевов. Вскоре мужчины стали приходить наниматься на работу, ведь я хорошо платил и кормил вволю. Я купил скотину. Животные вообще были священны для меня. И хотя год мы прожили без мяса, мы не трогали их. Потому и выросло стадо. Я организовал мужчин в бригады, и после работы в поле мы занимались восстановлением господского дома. Они не были ни плотниками, ни каменщиками, всему этому должен был учить их я – с помощью учебников, которые купил. Мы даже лудильную мастерскую построили, поправили крышу, оштукатурили все, так все отчистили, что дом сверкал и снаружи и внутри. Я раздал крестьянам всю мебель, кроме обеденного стола, который не пострадал от насекомых, изъевших все остальное, и родительской кровати кованого железа. Жил в пустом доме, из мебели были лишь эти две вещи, да еще несколько ящиков; на них я сидел, пока Ферула не прислала мне из столицы новую заказанную мной мебель. Это были массивные, тяжелые, роскошные вещи, пригодные для деревенской жизни и сделанные в расчете на несколько поколений, если бы только землетрясение не разрушило их. Я расставил всю мебель вдоль стен, думая об удобстве, а не о красоте, и в один прекрасный день, когда в доме все стало на свои места, я почувствовал себя так хорошо, что окончательно свыкся с мыслью провести в Лас-Трес-Мариасе многие годы, а может, даже всю жизнь.

Крестьяне по очереди служили в господском доме, они же занимались и огородом. Вскоре я увидел первые цветы в саду, его план я начертил собственной рукой; этот сад практически не изменился и по сей день. В те времена люди работали не тратя времени на болтовню. Думаю, я вернул им уверенность в своих силах, они увидели, что мало-помалу земля превращается в цветущий уголок. Люди были простые и добрые, бунтарей не водилось. Нельзя, правда, отрицать, что они были бедны и невежественны. До моего приезда они обрабатывали лишь небольшие семейные участки, это позволяло им не умереть с голоду, конечно, если не сваливалась какая-нибудь беда, вроде засухи, заморозков, чумы, нашествия термитов или гусениц, и тогда уж им становилось невмоготу. При мне все изменилось. Мы восстановили пастбища одно за другим, перестроили курятник, скотный двор, занялись устройством современной оросительной системы, чтобы посевы не зависели от прихотей погоды. Но жизнь не была легкой. Было тяжело. Иногда я привозил ветеринара, тот осматривал коров и кур, а заодно больных крестьян. Неверно, будто я считал – как говорит моя внучка, желая меня рассердить, – что если ветеринар может лечить животных, то он может вылечить и людей. Просто в этом захолустье не было ни одного врача. Крестьяне при случае обращались к одной индейской знахарке, знавшей силу трав и внушения, они очень верили ей. Женщины рожали, полагаясь на соседок и молитвы, а акушерки было не дожидаться, так как добираться ей приходилось на осле; знахарка помогала появиться на свет младенцам и телятам, если корову сглазили. Тяжелобольных, из тех, кого никакое колдовство знахарки или отвары ветеринара не могли вылечить, Педро Сегундо Гарсия либо я сам увозили на телеге в больницу к монахиням. Туда порой навещался какой-нибудь заезжий врач, и он помогал несчастным умирать. Покойников отвозили на маленький погост рядом с покинутой приходской церковью у подножия вулкана, туда, где сейчас по воле Божьей большое кладбище. Один или два раза в год мне удавалось заполучить священника, чтобы тот благословил брачные союзы, животных и сельскохозяйственные машины, окрестил

новорожденных и сотворил запоздалую молитву по усопшим. Немногие развлечения сводились к кастрации поросят и быков, петушиным боям, игре в очко и удивительным историям старика Педро Гарсиа, царство ему небесное. Он был отцом Педро Сегундо и рассказывал, что его дед сражался в рядах патриотов, которые прогнали испанцев из Америки. Он учил детей, что следует не отгонять пауков, а дать им на себя помочиться, а мочу беременных женщин советовал принимать от разных хворей. Он знал почти столько же трав, что и знахарка, но иногда забывал, как их следует применять, и потому совершал непоправимые ошибки. Однако, признаю, зубы он тащил непревзойденно и прославился на всю округу. Использовал он красное вино и «Отче наш», это погружало пациента в гипнотическое состояние. Лично мне он безболезненно вырвал зуб, и если бы старик был сейчас еще жив, то стал бы моим зубным врачом.

Очень скоро я вошел во вкус деревенской жизни. Ближайшие соседи жили от меня на расстоянии хорошего конного перехода, но меня они не интересовали, мне нравилось одиночество, да и работы было невпроворот. Постепенно я превращался в дикаря, забывались хорошие манеры, сокращался словарный запас, я стал властолюбцем. Так как притворяться мне было не перед кем, мой и без того дурной характер ухудшился. Любой пустяк приводил меня в бешенство, я злился, когда видел, что дети крутятся возле кухонь, надеясь стащить ломоть хлеба, злился, когда куры забегали в патио, когда воробьи налетали на маисовые поля. Если плохое настроение одолевало меня и мне становилось неуютно в собственном доме, я отправлялся на охоту. Вставал задолго до рассвета и пускался в путь с ружьем на плече, ягдташем и легавой. Мне нравилось ехать верхом в темноте, в предрассветном холоде, выслеживать, затавившись, дичь. Я любил тишину, запах пыли и крови, мне нравилось чувствовать резкую отдачу ружья в плечо, видеть падающую, бьющую лапами добычу. Это приводило меня в равновесие, и, когда я возвращался с охоты с четырьмя жалкими кроликами в сетке ягдташа и несколькими куропатками, изрешеченными дробью так, что они уже не годились в пищу, полумертвый от усталости, весь в пыли, я чувствовал себя успокоенным и счастливым.

Вспоминая эти времена, я тоскую. Жизнь прошла так быстро, но, в общем, я ни в чем не раскаиваюсь. Да, я был хорошим хозяином, это несомненно.

* * *

Первые месяцы Эстебан Труэба, проводя каналы, роя колодцы, убирая камни, очищая пастбища и восстанавливая курятники и скотные дворы, был так занят, что у него не оставалось времени о чем-либо думать. Он ложился спать уставший донельзя и вставал на заре, съедал скудный завтрак на кухне и выезжал верхом наблюдать за работой в поле. Возвращался только под вечер. Тогда-то и устраивал настоящий обед в столовой в полном одиночестве. Первые месяцы он поставил себе условие: всегда мыться и ежедневно менять белье в час ужина, подобно тому, как он слышал, поступали английские колонисты в самых отдаленных селениях Азии и Африки, дабы не утратить человеческое достоинство. Он одевался во все лучшее, что у него было, брился и прослушивал по вечерам на граммофоне одни и те же арии из любимых опер. Но понемногу он подчинился сельскому образу жизни, он понял, что не создан быть щеголем, тем более что не было никого, кто бы смог оценить его усилия. Перестал бриться, стриг себе волосы, только когда они доходили уже до плеч, не заботился об одежде и своих манерах, но продолжал принимать ванны, потому что эта привычка слишком укоренилась в нем. Постепенно он превращался в нелюдима. Прежде чем уснуть, немного читал или играл в шахматы сам с собой по книге и научился проигрывать партии, не сердясь.

И все же усталость от работы была недостаточной, чтобы подавить его могучую чувственную натуру. По ночам ему было невыносимо трудно, одеяла казались чересчур тяжелыми, простыни слишком гладкими. Его конь сыграл с ним злую шутку, превращаясь вдруг в огромную самку, в крепкую гору дикой плоти, на которой он скакал до ломоты в костях. Прохладные душистые дыни в огороде казались ему огромными женскими грудями; зарывая лицо в попону, он улавливал в едком запахе животного далекий и недоступный запах своих первых проститу-

ток. Ночами он покрывался потом от кошмаров, ему снились гнилые моллюски, разделанные огромные туши, кровь, сперма, слезы. Он просыпался с ощущением, что внутри натянулась тугая струна, член становится железным, и злился невероятно. Чтобы успокоиться, он бежал к реке и, обнаженный, нырял, погружаясь в холодные воды, пока не перехватывало дыхание, но тогда ему начинало казаться, что он ощущает невидимые руки, ласкающие его бедра и голени. Победенный, он положился на волю волн, чувствуя объятия реки, и шустрые головастики целовали его, а береговой тростник хлестал. Через некоторое время желание стало нестерпимым, его уже не успокаивало ни ночное купание в реке, ни коричный настой, ни кремьень, положенный под матрац, ни даже жалкие манипуляции, которые в интернате сводили мальчиков с ума, обрекая их на вечное проклятие. Когда он стал жадно поглядывать на домашнюю живность, на детей, играющих голыми в огороде, и даже на сырое тесто, то понял, что его мужское начало не успокоить средствами, доступными какому-нибудь дьячку. Здравый смысл подсказал ему, что надо найти женщину, и когда решение было принято, подавленное состояние исчезло, а ярость, казалось, улеглась. В тот день, впервые за последнее время, он проснулся с улыбкой.

Педро Гарсиа, старик, видел, как хозяин пошел, насвистывая, в конюшню, и обеспокоенно покачал головой.

Эстебан весь день вспахивал одно пастбище, которое только что расчистил, намереваясь засеять маисом. Потом с Педро Сегундо Гарсиа отправился помочь корове произвести на свет теленка, который неправильно шел. Труэба засунул руку по локоть и повернул крохотное существо так, чтобы высунулась голова. Корова все же не выжила, но настроение у него не ухудшилось. Он приказал кормить теленка из бутылки, облился водой из ведра и снова сел на коня. Обычно это был час обеда, но голода он не испытывал. Никуда не спешил, ведь выбор он уже сделал.

Много раз за это время он видел девушку, что несла на бедре своего сопливого братишку, на спине мешок, а на голове кувшин. Впервые он заметил ее, когда, нагнувшись над плоскими камнями, она стирала белье в реке, увидел ее смуглые ноги, отполированные водой, грубые крестьянские руки, отжимающие выцветшие тряпки. Она была ширококостной, смуглолицей, похожей на индианку, с крупными чертами лица, мягкого и кроткого. Ее полные губы скрывали белые ровные зубы, и когда она улыбалась, то вся светилась, но случалось это очень редко. В ней покоряла красота первой молодости, хотя было ясно, что увянет она очень скоро, как обычно случается с женщинами, которым предназначено много рожать, работать без отдыха и хоронить ушедших в мир иной. Ее звали Панча Гарсиа, было ей пятнадцать лет.

Когда Эстебан Труэба отправился искать ее, наступил вечер, стало прохладней. Верхом он неспешно объехал аллеи тополей, разделявшие пастбища, спрашивая о ней тех, кто попался навстречу, пока не увидел на дороге, что вела на ее ранчо. Она шла босиком, согнувшись под вязанкой хвороста, глядя вниз. Он посмотрел на нее с высоты своего коня и тотчас испытал прилив нестерпимого желания, которое мучило его уже столько месяцев. Рысью подъехал к ней. Она услышала его, но продолжала идти, не глядя, по вековому обычаю всех женщин их племени опускать голову перед мужчинами. Эстебан нагнулся, вырвал у нее вязанку, какое-то время подержал ее и затем с силой отбросил на обочину дороги, обхватил девушку за талию, тяжело дыша, поднял ее и усадил перед собой. Девушка не сопротивлялась. Затем пришпорил коня и помчался галопом к реке. Они спешили, не сказав ни слова, смерив друг друга взглядами. Эстебан снял широкий кожаный пояс, и она отступила, но он тотчас схватил ее. Стиснул в объятиях, и они упали на опавшие эвкалиптовые листья.

Эстебан одежду не снял. Он набросился на нее бешено, овладел молча, излишне грубо. Опомился, увидев пятна крови на ее платье и поняв, что она была девственницей. Но ни жалкий вид Панчи, ни первое удовлетворение не смягчили его ярость. Панча не защищалась, не жаловалась, не закрывала глаза. Она отвернулась, смотря на небо с выражением страха, пока не почувствовала, что мужчина рухнул со стоном около нее. Тогда девушка тихо заплакала.

До нее ее мать, а до матери бабушка испытали то же самое. Эстебан Труэба поправил брюки, застегнул пояс, помог ей встать и усадил на круп лошади. Они поехали назад. Он насвистывал. Она плакала. Прежде чем ссадить ее у ранчо, хозяин поцеловал ее в губы.

– С завтрашнего дня будешь работать у меня в доме, – приказал он.

Панча кивнула, не поднимая глаз. Ведь и ее мать, и бабушка прислуживали в господском доме.

Эту ночь Эстебан Труэба спал как святой, даже Роза ему не снилась. Утром он ощутил прилив энергии, почувствовал себя еще более могущественным и сильным. Он отправился в поле, тихо напевая, а по возвращении увидел на кухне Панчу, уже склонившуюся над огромным медным котлом. Этой ночью он нетерпеливо ждал ее, и когда в старом родовом доме шум дня сменила ночная беготня мышей, он ощутил, что девушка стоит на пороге его спальни.

– Входи, Панча, – позвал он. Это был не приказ, скорее мольба.

На этот раз у Эстебана было время насладиться ею и ее ублажить. Он нежно обнимал ее, пытаясь удержать в памяти запах дыма, исходящий от ее тела и белья, выстиранного в щелоке и выглаженного жаровым утюгом. Неторопливо гладил ее черные, гладкие волосы, ее нежную кожу в самых интимных местах, шершавую и мозолистую кожу рук, ее полные губы, спокойное лоно и широкий живот. Желание его было тихим, и он обучал ее самой древней и тайной науке. Кажется, он был счастлив этой ночью и еще несколько ночей, когда они резвились, как щенята, на огромной железной кровати, сохранившейся со времен первого Труэбы. Ложе было уже неустойчивым, но еще могло выдержать любовные игры.

У Панчи Гарсиа увеличилась грудь и округлились бедра. Характер Эстебана Труэбы на какое-то время смягчился, он стал интересоваться жизнью своих крестьян, посещал их нищенские дома. В полутьме одного из них он разглядел ящик со старыми газетами, где спали вместе грудной ребенок и только что ошенившаяся собака, в другом – старуху, которая умирала в течение четырех лет и у которой сквозь язвы на спине виднелись кости. В одном из патио он впервые увидел мальчика-идиота со слюной у рта, с веревкой на шее, привязанного к столбу, говорившего на языке других миров, – тот непрерывно терся о землю своим огромным членом. Впервые он понял, что заброшенные земли и тощие стада еще не самое плохое, хуже дело обстояло с обитателями Лас-Трес-Мариаса; они впали в ничтожество с тех пор, когда его отец проиграл приданое и наследство его матери. Он решил, что настало время привнести хоть немного цивилизации в этот уголок, затерянный между морем и грядой гор.

В Лас-Трес-Мариасе началась лихорадочная деятельность, пробудившая всех от спячки. Эстебан Труэба заставил работать крестьян так, как до того они никогда не трудились. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый старик и ребенок, которые могли держаться на ногах, были вовлечены хозяином в работу, так ему хотелось за несколько месяцев восстановить то, что было утрачено за годы запустения. Он заставил построить амбар и кладовые для хранения продуктов на зиму, он велел солить конину и коптить свинину, приучил женщин варить варенье и консервировать фрукты. Модернизировал скотный двор, который прежде был всего-навсего навесом с кучами навоза и тучами мух, и добился роста удоев.

Благодаря ему построили школу-шестилетку, он был честолюбив и хотел, чтобы все дети и взрослые в его имении научились читать, писать и считать. Полагал, правда, что большего им и не надо, дабы в головы их не приходили мысли, чуждые их социальному положению. Эстебан не смог найти учителя, который пожелал бы работать в такой глуши, и сам попытался привлечь детей то кнутом, то пряником к обучению грамоте. В конце концов он был вынужден на время отказаться от своей мечты и здание школы использовал для иных целей. Сестра Ферула присылала ему из столицы книги, которые он просил. Это были различные справочники и учебники. С их помощью он научил крестьян делать уколы и смастерил радио. Первую прибыль он пустил на покупку тканей, швейной машинки, коробки гомеопатических пилюль с соответствующей инструкцией, энциклопедии и целой кипы букварей, тетрадей и каранда-

шей. Он начертил план столовой, где дети могли бы ежедневно получать обед, чтобы расти сильными и здоровыми и работать с малолетства, но понял, что безумие заставлять их бегать с одного конца имения в другой за тарелкой супа, и отказался от этой мечты, зато задумал построить швейную мастерскую. Панче Гарсиа он доверил разобраться со швейной машинкой. Сперва она думала, что это орудие дьявола, наделенное собственной жизнью, и отказывалась даже близко подходить к машинке, но Эстебан был непреклонен, и в конце концов она освоила швейное дело. Труэба открыл и продуктовую лавку. Это был скромный магазин, где местные жители могли купить все необходимое, не тащась в двуколке до Сан-Лукаса. Эстебан покупал товары оптом и продавал их своим рабочим по той же цене. Он ввел систему расписок, она действовала сперва как форма кредита, а со временем заменила обычные деньги. В продуктовой лавке все можно было купить на розовые бумажки, и плату рабочие получали ими же. Каждый работник, помимо знаменитых бумажек, имел право на клочок земли, который обрабатывал в свободное время, на шесть куриц в год на всю семью, на оговоренное количество зерна, на часть урожая, необходимую для пропитания, на ежедневно выдаваемые хлеб и молоко и на пятьдесят песо, которые распределялись между мужчинами на Рождество и государственные праздники. Женщины не имели этой привилегии, хотя и работали наравне с мужчинами, но их не считали опорой семьи, исключение составляли вдовы. Хозяйственное мыло для стирки, шерсть для тканья и фруктовый сироп для укрепления здоровья распределялись бесплатно. Труэба не хотел видеть вокруг грязных, оборванных или больных.

Однажды он прочитал в энциклопедии о пользе сбалансированной диеты, после чего начались бесконечные чудачества с витаминами. Он страшно злился, если узнавал, что крестьяне кормят детей только хлебом, а молоко и яйца отдают свиньям. Он стал созывать их на обязательные собрания в школу, где растолковывал им пользу витаминов и заодно сообщал о новостях, донесенных до него радио с аккумулятором, работавшим на сернистом свинце. Скоро ему надоело тратить время, отыскивая нужную волну, и он заказал в столице заокеанский приемник на мощных батареях. Теперь он мог слушать заморские передачи. Так он узнал о войне в Европе и стал следить за продвижением войск по карте, которую повесил на классной аспидно-черной доске. Места сражений он отмечал булавками. Крестьяне ошеломленно смотрели на хозяина, совершенно не понимая, зачем он вонзает булавку то в голубой цвет, то, на следующий день, – в зеленый. Они просто не могли вообразить себе мир размером с бумажный лист, прикрепленный к доске, и тем более представить себе войска, низведенные до величины булавочной головки. В общем-то, ни война, ни достижения науки, ни технический прогресс, ни цена на золото, ни изменчивая мода не заботили их. Все это были сказки, им совершенно ненужные. Для этих невозмутимых людей радиоизвестия были никчемными, лишними, а к приемнику они мгновенно потеряли доверие, как только поняли, что он не умеет предсказывать погоду. Единственным, кого волновали известия, передаваемые по воздуху, был Педро Сегундо Гарсиа.

Эстебан Труэба просидел с ним много часов, сперва у старого радио, а потом у приемника на батареях в ожидании чуда незнакомого и далекого голоса, который приобщал к цивилизации. Тем не менее эти часы не сблизили их. Труэба знал, что этот крестьянин умнее других. Только Педро умел читать и мог произнести больше трех фраз подряд. Более, чем кто бы то ни было из всех, он походил на человека, который мог бы стать ему другом в здешней округе, но вечная гордыня Труэбы мешала признавать за Педро какие-либо достоинства. Он ценил его только как хорошего работника. К тому же Эстебан не терпел фамильярности с подчиненными. Со своей стороны, Педро Сегундо его ненавидел, хотя никогда не называл чувство, что сжигало его душу и смущало его. Скорее это была смесь страха и злобного восхищения. Он понимал, что никогда не осмелится восстать против Эстебана, ибо тот был хозяином. Педро будет терпеть все его желчные выходки, необдуманные приказы, его превосходство в течение всей жизни. В те годы, когда Лас-Трес-Мариас покинули владельцы, Педро стал главой маленького

племени, которое выжило на этих забытых землях. Он привык к почтению, привык повелевать, принимать решения и не иметь ничего, кроме неба над головой. Приезд хозяина изменил его жизнь, но он не мог не согласиться с тем, что теперь крестьяне стали жить лучше, не страдали от голода и чувствовали себя более сильными и уверенными. Иногда Труэба замечал, что в глазах Педро Сегундо вспыхивает желание убить его, но хозяин никогда не мог упрекнуть его в дерзости. Педро Сегундо подчинялся безропотно, работал, не жалуясь, был честным и казался преданным. Когда он видел, что его сестра Панча идет по коридору господского дома тяжелой походкой удовлетворенной женщины, то опускал голову и молчал.

Панча Гарсиа была молодой, а хозяин сильным. Через некоторое время результат их связи не замедлил сказаться. Вены на смуглых ногах девушки стали похожи на червяков, движения сделались медленными, а взгляд далеким, она потеряла интерес к шалостям на железной кровати, у нее пополнела талия и грудь налилась соками новой жизни, возникшей в ее теле. Эстебан не скоро заметил это – он никогда не смотрел на нее и, когда первый порыв страсти у него прошел, больше не ласкал. Он ограничивался тем, что пользовался ею как средством, которое снимало напряжение дня и дарило ему ночь без тяжелых снов. Но наступил момент, когда беременность Панчи стала очевидной и для него. Он почувствовал к девушке отвращение. Труэба воспринимал ее как некую огромную упаковку, содержащую бесформенную и студенистую субстанцию, в которой он не мог признать своего отпрыска. Панча покинула его дом и вернулась на ранчо родителей, те не задавали ей никаких вопросов. Она продолжала работать на господской кухне, замешивала тесто, шила на машинке и с каждым днем все более округлялась. Потом перестала прислуживать за столом и избегала встреч с хозяином – они были уже не нужны друг другу. Неделью спустя, после того как она покинула его постель, Эстебан снова возмечтал о Розе и проснулся на влажных простынях. Он взглянул в окно и увидел тоненькую девочку, что развешивала на проволоке выстиранное белье. Казалось, ей не более тринадцати или четырнадцати лет, но выглядела она уже созревшей для любви. В этот момент она обернулась и посмотрела на него: взгляд был женский.

Педро Гарсиа увидел, как хозяин пошел, насвистывая, по дороге, и, обеспокоенный, покачал головой.

* * *

В течение десяти лет Эстебан Труэба сделался самым почитаемым в этом крае хозяином, он построил кирпичные дома для рабочих, добился приезда учителя в школу, улучшил жизнь всех, кто работал на его земле. Лас-Трес-Мариас оказалось доходным имением, не требующим финансовых вливаний от золотой жилы, напротив, само имение стало служить гарантией продления концессии. Скверный характер Труэбы стал притчей во языцех и ухудшился настолько, что это мешало и ему самому. Он не допускал возражений, не выносил, когда ему противоречили, любое несогласие считал подстрекательством к бунту. Возросла и его похоть. Ни одну девушку, едва достигшую половой зрелости, ни одну взрослую женщину он не пропускал. Он брал ее либо в лесу, либо на берегу реки, либо на своей железной кровати. Когда он перепробовал всех девушек и незамужних женщин в Лас-Трес-Мариасе, то стал совершать набеги на соседние имения, насилуя девушек, прихватывая их в любом месте, обычно по вечерам. Он ни от кого не таился, потому что никого не боялся. Иногда приходил в Лас-Трес-Мариас чей-либо брат, отец, муж или хозяин, требуя у него ответа, но он встречал всех с несдерживаемой яростью, и подобные посещения сошли на нет. Слава о его любовных победах гремела по всей округе, вызывая завистливое восхищение у самцов, подобных ему. Крестьяне прятали от него дочерей и только бессильно сжимали кулаки, не решаясь оказать сопротивление. Эстебан Труэба был сильнее всех и оставался безнаказанным. Дважды обнаруживали тела крестьян из других поместий, убитых из охотничьего ружья, и ни у кого не возникло сомнений, что искать убийцу следует в Лас-Трес-Мариасе. Однако сельские жандармы ограничились тем, что в своих протоколах зафиксировали сам факт убийства, причем писали очень старательно, почерком

полуграмотных людей, и по их писаниям выходило, что погибшие были ворами. Дело замаяли. Труэба все больше представлялся крестьянам исчадием ада, он не знал удержу, заселяя округу незаконнорожденными детьми, собирая урожай ненависти и накапливая яд мести; но он плевал на все и вся, душа его задубела, и совесть умолкла. Он оправдывал себя тем, что воскресил к жизни имение. Напрасно Педро Сегундо Гарсиа и старый священник из больницы монахинь пытались убедить его, что не кирпичные домики и молочные реки делают хозяина хорошим, а христианина добрым, но уважительное отношение к работникам, не розовые бумажки им нужны, а настоящие деньги за работу, которая не подрывала бы здоровья тех, кто трудится. Труэба не хотел и слышать подобных разговоров, которые, по его мнению, папахивали коммунизмом.

– Речи дегенератов, – сквозь зубы цедил он. – Большевистские идеи – и только для того, чтобы подстрекать моих работников к бунту. А не понимают, что у этих бедняков нет ни культуры, ни воспитания, они не могут отвечать за свои поступки, это же дети. Откуда они могут знать, что им нужно. Без меня они все погибли бы, ведь едва я отвернусь, как все летит к черту, они начинают делать глупость за глупостью. Они очень невежественны. Мои люди хорошо живут – чего им еще желать? У них всего достаточно. Если они и жалуются, то только потому, что неблагодарны. У них кирпичные дома, я забочусь о новорожденных, о том, чтобы не водились гниды у детишек, делаю им прививки и учу их читать. Разве здесь где-нибудь есть еще имение, где была бы школа? Нет! Всегда, когда могу, я веду их слушать проповеди и не понимаю, почему священник приходит ко мне и твердит о несправедливости. Он не должен вмешиваться в то, чего не понимает; а он ничего не смыслит в мирских делах. Хотел бы я видеть его хозяином этого имения! Стал бы он тогда кривляться?! С этими несчастными нужно разговаривать на языке кулаков, это единственный язык, который они понимают. Если кто-то начинает нянькаться, его перестают уважать. Я не отрицаю: много раз был суров, но всегда справедлив. Я должен был научить их всему, даже нормально есть, ведь, если бы не я, они питались бы только хлебом всухомятку. Стоит мне отвернуться, как они бросаются кормить свиней молоком и яйцами. Еще не научились подтираться, а хотят права голоса? Ничего не понимают в хозяйстве, а желают заниматься политикой? Они, возможно, будут голосовать за коммунистов, как шахтеры севера, а ведь те своими забастовками только вредят всей стране, и именно тогда, когда цена руды достигла максимума. Я бы послал войска на север, пусть постреляют, может, это их чему-то научит. Мы ведь не в Европе. Единственное, что здесь нужно, – это крепкое правительство, сильный хозяин. Все было бы очень мило, если бы все мы были равны, но это не так. Это бросается в глаза сразу. Здесь только я умею работать и утверждаю это, положив руку на сердце. На этой проклятой земле я просыпаюсь первым и ложусь последним. По мне, так я послал бы все к чертям и поехал бы жить принцем в столицу, но я должен быть здесь, потому что отсутствуй я даже неделю – это все, конец, крах, мои люди начнут умирать от голода. Вспомните, что было здесь девять или десять лет назад, когда я приехал сюда: полное разорение. Пустыня, одни камни и грифы. Все пастбища заброшены. Никому и в голову не приходило провести воду. Они сажали четыре хилых кустика салата в своих патио, на остальное им было наплевать, нищета, сплошная нищета. Мне необходимо было приехать, чтобы навести порядок, восстановить имение, дать людям работу. Как же мне не гордиться? Я так хорошо работал, что уже купил два соседних имения, и теперь мои владения самые большие и богатые в этих краях. Мне завидуют все, это же пример, у меня образцовое хозяйство. И теперь, когда рядом проходит шоссе, захоти я продать свое имение, я получил бы двойную прибыль. Я мог бы отправиться в Европу и жить на ренту, но я не уеду, я остаюсь здесь, я упорный. Я остаюсь ради своих людей. Без меня они пропали бы. Если посмотреть в корень, они ни на что не годятся, даже приказы не исполняют, я всегда говорил: они как дети. Нет ни одного, кто бы делал то, что должен делать, если я не стою у него за спиной. И после этого мне рассказывают сказки о том, что мы все равны! Умереть со смеху, да и только...

Матери и сестре он ящиками отправлял фрукты, солонину, свежие яйца, живых кур, маринады, рис и зерно в мешках, сыры и деньги, необходимые им, кучу денег. Лас-Трес-Мариас и шахта были так плодородны, как только что созданные Богом земли – Богом, которого услышал тот, кто хотел услышать. Донье Эстер и Феруле Эстебан давал то, о чем они никогда и мечтать не смели, но у него за все эти годы не было времени навестить их, даже если проездом он и бывал в городе. Он был так занят делами в деревне, на новых, купленных им землях, так занят всеми предприятиями, которые давали доход, что не мог терять свое драгоценное время у постели больной матери. К тому же существовала почта, что связывала их, и поезд, который доставлял им его дары. Он не испытывал желания их видеть. Все можно было сказать в письмах. Все, кроме того, что он не хотел, чтобы они знали, например, об уйме незаконнорожденных, появившихся на свет божий точно по мановению волшебной палочки. Не успевал он завалить какую-нибудь девушку на пастбище, как она тут же брюхатела, это было просто дьявольское наваждение, это казалось невероятным, он был уверен, что половина малышей не его. Поэтому он решил, что, кроме сына Панчи, которого, как и его, звали Эстебан, – ведь Панчу именно он лишил невинности – остальные могли быть его детьми, а могли и не быть таковыми. Спокойнее думать, что они не от него. Когда к нему приходила какая-нибудь женщина с дитем на руках и просила дать ребенку имя или какую-либо помощь, он совал ей пару купюр и говорил, что если она еще раз заявится, он ее высечет, чтобы у нее навсегда пропала охота вилять хвостом перед первым встречным самцом, а потом обвинять его. Вот так и получилось, что он никогда не знал точного числа своих детей, но, правду говоря, это его и не интересовало. Он считал, что, когда ему захочется заиметь детей, он найдет себе достойную супругу. Церковь благословит его брак, и только тех детей следует считать своими, кто носит твое имя, а остальные как бы и не существуют. И пусть к нему не суются с ахинеей, будто все рождаются с одинаковыми правами и наследуют все на равных, ведь в этом случае все полетело бы к черту, а народы вернулись бы к каменному веку.

Он вспоминал о Нивее, матери Розы. Так как ее муж отказался от политической деятельности после случая с отравленной водкой, она начала собственную политическую кампанию. Она и другие дамы приковали себя цепью к решетке конгресса и Верховного суда, устроив позорный спектакль, который поставил в смешное положение их мужей. Он знал, что Нивея ходила по ночам клеить на стены домов суфражистские лозунги. Она была способна пройти по центру города в воскресенье при свете дня в берете, с метлой в руке, требуя для женщин равные права с мужчинами, возможность голосовать и поступать в университет, а также защиты закона для незаконнорожденных детей.

– Эта сеньора не в своем уме! – говорил Труэба. – Все равно что переть против природы. Да ведь женщины не умеют сложить два и два, а уж тем более пользоваться хирургическим ножом. Их предназначение – это материнство, домашний очаг. Если так пойдет дальше, в один прекрасный день они захотят стать депутатами, судьями, а то и президентом республики! А пока только смущают людей и сеют беспорядок, который может привести к катастрофе. Они публикуют неподобающие памфлеты, говорят по радио, приковывают себя в людных местах цепями, и полицейские вынуждены вместе с кузнецом распиливать их кандалы и забирать их в участок, что, конечно же, справедливо. Жаль, что всегда находится влиятельный супруг, малодушный судья или какой-нибудь бунтарь, член парламента, которые отпускают их на свободу... Твердой руки не хватает, вот что!

Война в Европе недавно окончилась, и плач живых по мертвым еще не утих. Из Европы шли разрушительные идеи, их приносили волны ветра, радио, телеграф, привозили пароходы с эмигрантами. Ошеломленная, беспорядочная толпа спасалась от голода, от бомб и от мертвецов, гниющих на полях сражений, по которым уже шли крестьяне с плугом. Это был год президентских выборов – год беспокойства в связи с мировой катастрофой. Страна просыпалась. Волна недовольства, охватившего народ, накатывалась на прочные устои олигархиче-

ского общества. В сельских районах чего только не случалось: и засуха, и гусеницы, и ящур. На севере царила безработица, а в столице ощущались последствия далекой войны. Это был год обнищания, и единственное, чего не хватало для полноты картины, – так это землетрясения.

Тем не менее высший класс – хозяин власти и богатства – не отдавал себе отчета в опасности, которая угрожала хрупкому равновесию в стране. Богатые веселились, танцуя чарльстон и новые танцы в ритмах джаза – фокстрот и негритянское кумби, которые были очаровательно неприличными. Возобновились морские путешествия в Европу, прерванные из-за четырехлетней войны, вошли в моду круизы в Северную Америку. Гольф был новинкой, сливки общества собирались для того, чтобы гонять мячик клюшкой, как это делали двести лет назад в этих же самых местах индейцы. Дамы украшали себя бусами из фальшивого жемчуга, доходившими до колен, натягивали до бровей шляпы в виде таза, стриглись под мальчика и красились как публичные женщины, отказывались от корсета и курили, положив ногу на ногу. Мужчины были ослеплены североамериканскими автомобилями – машины прибывали в страну утром, а к вечеру их уже продавали, хотя стоили они целое состояние и ничего, кроме шума и дыма, от них ждать было нельзя. Голова шла кругом, когда они мчались на бешеной скорости по дорогам, предназначенным для лошадей и мулов, а совсем не для стремительных машин. За игорными столами проигрывались наследства и состояния, легко сколоченные за последние годы, лилось шампанское, и в качестве новинки для наиболее утонченных и порочных появился кокаин. Всеобщему безумию, казалось, не будет предела.

Но для провинции автомобили оставались реальностью столь же далекой, как короткие платья, и те, кто избавился от гусениц и ящура, считали год вполне удачным. Эстебан Труэба и другие здешние землевладельцы создали сельский клуб для выработки политических действий накануне выборов. Крестьяне жили все так же, как в колониальные времена, и слыхом не слыхивали ни о профсоюзах, ни о законных выходных, ни о минимальной заработной плате. Но уже стали просачиваться в наследственные владения под видом церковников активисты новых левых партий. В одной руке они держали Библию, а в другой – марксистские памфлеты и проповедовали одновременно трезвую жизнь и смерть за революцию. Собрания владельцев имений заканчивались кутежами или петушиными боями, а в сумерках они заявлялись в бордель «Фаролито Рохо», где двенадцатилетние проститутки и Кармело, единственный педераст в поселке, плясали под звуки допотопного граммофона под неусыпным взглядом небезызвестной мадам Софии, которая уже не могла дрыгать ногами, но еще вполне энергично управляла всем железной рукой. Мадам не позволяла полиции нарушать покой заведения, а господам веселиться с девушками бесплатно. Лучше всех танцевала и умела дать отпор домогательствам пьяниц Трансито Сото. Она была неутомима, никогда ни на что не жаловалась, она словно обладала способностью тибетцев отделять тело от души, жалкую оболочку отдавая в руки клиента, а душу посылая в заоблачные высоты. Она нравилась Эстебану Труэбе, потому что никогда не жеманилась, не противилась никаким прихотям клиента и пела голосом хриплой птички. Однажды Трансито сказала ему, что проституткой она работает временно, надеясь подняться гораздо выше, и это пришлось ему по душе.

– Я не собираюсь оставаться в «Фаролито Рохо» всю жизнь. Уеду в столицу, мне хочется стать богатой и знаменитой, – мечтала она.

Эстебан ходил в публичный дом, потому что это был единственный вид развлечений в поселке, но, в общем-то, проститутки его не привлекали. Он не любил платить за то, что мог получить бесплатно. Но Трансито Сото ценил. Девушка его заинтересовала.

Однажды, после встречи с ней, он ощутил прилив великодушия, чего с ним почти никогда не случалось, и спросил, будет ли ей приятно получить от него подарок.

– Одолжите мне пятьдесят песо, сеньор! – мгновенно ответила она.

– Это очень много. А для чего?

– Мне нужно купить билет в столицу, красное платье, туфли на каблуках, флакон духов и сделать прическу. Все это, чтобы начать новую жизнь. Когда-нибудь я их верну вам. С процентами.

Эстебан дал ей пятьдесят песо – в тот день он продал пятерых бычков, и карманы его разбухли от денег, а, помимо этого, усталость от любовных утех сделала его сентиментальным.

– Единственное, о чем я буду жалеть, Трансито, так это о том, что не смогу видеть тебя. А я так привык к тебе!

– Нет, мы увидимся, сеньор. Жизнь длинная, и в ней чего только не случается!

Пиршества в клубе, петушинные бои и вечера в борделе увенчались довольно разумной программой, хотя и не вполне оригинальной: как заставить крестьян голосовать и за кого. Для них устроили праздник с пирогами и большим количеством вина, пожертвовали несколько туш скота, им пели песни под гитару, состряпали патриотические речи и пообещали, что, если пройдет кандидат от консерваторов, у них вся жизнь улучшится, а если пройдет кто-то другой, они окажутся без работы. Кроме того, не оставили без контроля урны и подкупили полицию. После праздника крестьян распахали по повозкам и повезли голосовать, их охраняли, с ними шутили, смеялись, впервые с ними говорили по-человечески; все стали друзьями: «Поговори со мной, – да я ведь ничего не знаю, сеньорито, – ах, это мне не нравится, у тебя же сердце патриота, ты же видишь, что либералы и радикалы все недоумки, а коммунисты безбожники, черт бы их побрал, и детей они едят...»

В день выборов все произошло так, как было задумано. Вооруженные силы стояли на страже демократического процесса, все прошло тихо и мирно, даже день выдался веселее и солнечнее других в ту весну.

– Вот достойный пример для нашего континента индейцев и негров, для тех, кто хочет революции для того, чтобы свергнуть одного диктатора и поставить другого. Наша страна отличается от всех прочих, у нас настоящая республика, нам свойственна гражданская честь, здесь консервативная партия выигрывает чисто и не нуждается для порядка и тишины в армии, не то что при диктаторских режимах, когда один кандидат убивает другого, а гринго вывозят из страны сырье, – так говорил, узнав итоги голосования, Труэба в столовой клуба, подняв бокал.

Спустя три дня, когда все вернулось на круги своя, в Лас-Трес-Мариас пришло письмо от Ферулы. Той ночью Труэба видел во сне Розу. Этого уже давно не случалось. Она приснилась ему со своими напоминавшими ветви плакущей ивы волосами, они закрывали спину, словно зеленая накидка, и доходили ей до талии, руки цвета алебаstra казались сильными и холодными. Она шла нагая и держала в руках какой-то сверток, шагала медленно, как бывает во сне, в ореоле блещущей, развевающейся зелени. Он увидел, что она неторопливо подходит к нему, и когда захотел коснуться ее, то увидел, что она бросила сверток на пол, и тот упал у его ног. Он наклонился, поднял его и увидел безглазую девочку, называвшую его «папа». Эстебан проснулся в тревоге, и все утро у него было плохое настроение. Он почувствовал беспокойство гораздо раньше, чем получил письмо от Ферулы. Как обычно, пошел на кухню завтракать и увидел курицу, клюющую зерна с полу. Пинком он отбросил ее, распоров живот, и оставил посреди кухни в луже крови, среди кишок и перьев, бьющейся в агонии. Это его не успокоило, напротив, усилило ярость; он почувствовал, что задыхается. Сел верхом и поехал галопом проследить, как клеймят скот. Подъехал к дому Педро Сегундо Гарсиа – тот, собрав у крестьян письма, уже уехал на станцию Сан-Лукас. Он и привез письмо от Ферулы.

Письмо ждало Эстебана весь день на столе у входа. Когда Труэба вернулся, то сперва пошел умыться, так как был в пыли и поту и весь пропитан запахом испуганных животных. Потом он уселся за письменный стол – занялся счетами – и приказал подать еду. Он заметил письмо от сестры только вечером, когда стал, как всегда, обходить дом, прежде чем лечь спать, чтобы убедиться, что свет всюду погашен, а двери закрыты. Письмо Ферулы было вроде таким же, какие он получал от нее и раньше, но, взяв его в руки, еще не вскрыв, он уже знал, что оно

изменит всю его жизнь. У него было такое же ощущение, как и в ту минуту, когда он держал телеграмму от сестры с извещением о смерти Розы, годы и годы назад.

Он открыл конверт, чувствуя, как пульсирует кровь в висках. В письме кратко говорилось, что донья Эстер Труэба умирает, она утратила память и после стольких лет заботы и рабского труда Ферула должна выдержать еще и это. Донья Эстер не узнаёт дочь, но день и ночь призывает своего сына Эстебана, так как не хочет умереть, не повидав его. Эстебан никогда по настоящему не любил мать, он чувствовал себя с ней неуютно, но это известие потрясло его. Он понял, что никакие предлоги, которые он выдумывал, чтобы не видеться с ней, теперь не годятся и наступило время собраться и ехать в столицу. Ему придется в последний раз предстать перед этой женщиной, которой в его кошмарах всегда сопутствовали прогорклый запах лекарств, слабые стоны, бесконечные молитвы, предстать перед страдающей матерью, которая внесла в его детство сплошные страхи и запреты, а во взрослую жизнь – непрестанные заботы и терзания из-за неведомой вины.

Он позвал Педро Сегундо Гарсиа и кратко все объяснил. Подвел к конторке и показал ему бухгалтерскую книгу и счета из магазина. Отдал все ключи, кроме ключа от подвала с винами, и сказал, что с этого момента до его возвращения за все в Лас-Трес-Мариасе отвечает Педро и что любой промах дорого ему обойдется. Педро Сегундо Гарсиа принял ключи, взял под мышку бухгалтерскую книгу и невесело улыбнулся.

– Каждый делает, что может, не более того, хозяин, – ответил он, пожав плечами.

На следующий день Эстебан Труэба вновь, впервые за долгие годы, предпринял путешествие по дороге, которая привела его из дома матери в провинцию. Он снова пустился в путь с двумя кожаными чемоданами до станции Сан-Лукас, взял билет в английский вагон первого класса и опять увидел обширные поля, раскинувшиеся у подножия горной цепи.

Закрыв глаза, пытаясь уснуть, но образ матери отпугивал сон.

Глава 3

Клара, ясновидящая

Кларе было десять лет, когда она решила, что не стоит разговаривать, и замкнулась в своей немоте. Ее жизнь сразу же изменилась. Толстый и любезный доктор Куэвас попытался лечить ее немоту таблетками собственного изобретения, готовил фруктовые напитки с витаминами, смазывал ей горло медом с бурой, но это не принесло никакого результата. Он понял, что его лекарства не действуют и что его появление пугает девочку. Завидев его, Клара начинала кричать и пряталась в самых отдаленных уголках дома, сжавшись, как затравленный зверек; поэтому он прекратил лечение и посоветовал Северо и Нивее показать ее одному румыну по фамилии Ростипов, который слыл сенсацией сезона. Ростипов зарабатывал на жизнь, показывая иллюзионистские трюки в театре варьете, а до этого совершил поистине подвиг. Он натянул проволоку между куполом кафедрального собора и куполом Галисийского братства и прошел над площадью без страховки, только с шестом в руках. Во время гипнотических сеансов с помощью магнитных палочек Ростипов лечил от истерии – и его успехи, несмотря на всю ненаучность метода лечения, вызвали большой шум в научных кругах. Нивея и Северо повели Клару в консультацию, которую румын наскоро устроил в отеле, где остановился. Ростипов очень внимательно обследовал ее и в конце концов объявил, что этот случай выходит за рамки его компетенции, ибо девочка не говорит из-за нежелания говорить, а не потому, что она не может. Тем не менее, уступив настойчивому желанию родителей, он изготовил какие-то сладкие пилюли фиолетового цвета и предупредил, что они являются сибирским средством для лечения глухонемых. Но первая порция пилюлей не помогла, а вторая из-за недосмотра была съедена Баррабасом, а ему это было что слону дробина. Северо и Нивея пытались разговорить дочку по-своему – умоляли ее, угрожали ей, даже оставляли без пищи в надежде, что голод заставит ее открыть рот и она попросит поесть, но даже это не помогло.

Нянюшка решила, что девочка сможет заговорить, если ее сильно испугать, и девять лет подряд придумывала всякую всячину, чтобы напугать Клару, но только выработала у нее стойкий иммунитет к страху и неожиданностям. Спустя какое-то время Клара уже абсолютно ничего не боялась, ее не пугали ни появление мертвенно-бледных, изможденных чудовищ в ее комнате, ни стук в окно вампиров и демонов. Нянюшка рядилась в разбойников с отрезанной головой, в пиратов Лондонской башни, в собаку-волка и в дьявола – в зависимости от вдохновения и от картинок в книжках, описывающих ужасы; она покупала их постоянно и, хотя читать не умела, все прекрасно понимала по иллюстрациям. У Нянюшки вошло в привычку незаметно исчезать и нападать в темноте коридоров на девочку, завывая за дверями и подкладывая разную живность в ее кровать, но все было напрасно. Иногда Клара теряла терпение, бросалась на пол, била ножками и кричала, не произнося при этом ни единого звука на родном языке, или писала на грифельной доске, которую всегда носила с собой, самые оскорбительные слова, какие знала. Тогда Нянюшка уходила на кухню выплакать свое горе.

– Я это делаю для тебя, ангелочек! – рыдала Нянюшка, вытирая разрисованное женой пробкой лицо окровавленной простыней.

Нивея запретила ей пугать дочь. Она поняла, что вид страшилищ только усиливает странности в поведении Клары. Кроме того, эти окровавленные чудища портили нервную систему Баррабаса, который, не обладая хорошим нюхом, не узнавал Нянюшку в ее маскарадных костюмах. Собака стала мочиться сидя, оставляя огромную лужу, и часто скрипела зубами. Однако Нянюшка, если Нивеи не было рядом, настойчиво пыталась излечить немоту теми же способами, какими избавляют от икоты.

Клару забрали из монашеского пансиона, где воспитывались все сестры дель Валье, и пригласили учителя на дом. Северо выписал из Англии бонну, мисс Агату, высокую, всю какую-то янтарную, с огромными руками каменщика, но мисс не выдержала перемены климата, острой еды и полетов солонки над столом во время обедов. Вскоре она возвратилась в Ливерпуль. Затем пригласили швейцарку, но та тоже продержалась недолго, и появилась француженка, которую удалось выписать благодаря связям семьи дель Валье с французским послом. Она была такой розовой, пухлой и нежной, что через несколько месяцев забеременела, и после дознания выяснилось, что отцом ребенка являлся Луис, старший брат Клары. Северо их поженил, не спрашивая их мнения, и, вопреки предсказаниям Нивеи и ее подруг, их брак оказался счастливым. В конце концов Нивея убедила мужа в том, что Кларе с ее телепатическими способностями ни к чему знать языки и что ей полезнее было бы научиться играть на рояле и вышивать.

Маленькая Клара много читала. И с жадностью поглощала все подряд, ей было все равно, что читать: волшебные ли книги из таинственных баулов дяди Маркоса или документы либеральной партии, которые хранились в кабинете отца. Она заполняла множество тетрадей своими записями о событиях того времени; благодаря этому они не исчезли, стерты туманом забвения, и теперь я могу, перечитывая их, многое воскресить в памяти.

Ясновидящая Клара умела толковать сны. Эта способность была для нее естественной, ей не было нужды читать загадочные книги, которые упорно и долго изучал дядя Маркос, так и не добившись больших успехов. Первым, кто догадался, что Клара понимает значение снов, был Онорио, семейный садовник. Однажды ему приснились змеи, ползающие между его ног, и чтобы они не забрались на него, он стал их топтать, пока не растоптал девятнадцать штук. Онорио, когда поливал розы, рассказал об этом сне Кларе, просто чтобы развлечь девочку, — он очень ее любил и жалел, что она немая. Клара вытащила из кармашка своего передника грифельную доску и написала о значении сна Онорио: «У тебя будет много денег, но ненадолго, заработаешь ты их без труда, играй девятнадцатого». Садовник не умел читать, но Нивея, шутя и смеясь, прочитала ему Кларино толкование. Садовник поступил так, как ему написала Клара, и выиграл восемьдесят песо в одном подпольном притоне, что находился позади угольного склада. Он потратил их на новый костюм, грандиозную пьянку с друзьями и на фарфоровую куклу для Клары. С той поры девочка втайне от матери стала толковать сны всем, кто ее просил об этом, а просили, узнав о случае с Онорио, многие. Что значит летать с лебедиными крыльями над башней, плыть по течению в лодке, слышать сирену, поющую голосом умершей жены, рожать сиамских близнецов, сросшихся спинами, у каждого в руке меч? Клара, не раздумывая ни минуты, записывала на дощечке, что башня — это смерть и тот, кто летает над ней, спасется от гибели, попав в аварию; что плывущий в лодке и слышащий сирену потеряет работу и будет терпеть нужду, но ему поможет женщина, с которой он сумеет договориться; что близнецы — это муж и жена, вынужденные жить вместе без любви и потому ранящие друг друга.

Клара угадывала не только сны. Она видела будущее и знала о намерениях людей; ясновидение она сохранила на всю жизнь, и со временем эта ее способность стала проявляться только сильнее. Она предсказала смерть своего крестного отца, дона Соломона Вальдеса. Он был маклером торговой биржи и однажды, решив, что потерял все, повесился на люстре в своей роскошной конторе. Там его и нашли, по предсказанию Клары, и похож он был на печального теленка, о чем она тоже написала на дощечке. Клара предрекла грыжу у отца, все землетрясения и другие явления природы; предсказала, когда единственный раз за многие-многие годы выпадет снег в столице и что от холода погибнут в бедных кварталах люди, а в садах богачей — розы. Она указала на убийцу двух школьниц задолго до того, как полиция обнаружила второй труп, но ей тогда никто в семье не поверил, а Северо воспротивился, чтобы его дочь помогала полиции и предсказывала что-то, не имеющее отношения к их семье. Едва бросив взгляд на Хетулиу Армандо, Клара поняла, что тот обманывает отца в торговле австралийскими овцами,

она прочитала это по цвету его ауры. Клара написала об этом на дощечке и показала отцу, но он не придал значения ее словам и вспомнил о предсказании своей младшей дочери, когда уже потерял половину состояния. В это время его компаньон, превратившись в богача, плавал под жарким солнцем по Карибскому морю с целым гаремом широкобедрых негритянок на собственном пароходе.

Способность Клары передвигать предметы, не трогая их, не прошла с началом менструации, как обещала Нянюшка, а, наоборот, усилилась настолько, что она научилась нажимать на клавиши рояля при закрытой крышке, хотя ей ни разу при всем желании не удалось переместить сам инструмент по гостиной. На эти чудачества уходила большая часть ее энергии и времени. Она умела угадывать карты в колоде; для своих братьев придумывала самые невероятные игры. Отец запретил ей читать будущее по картам, а особенно вызывать призраков и духов, – озорничая, они мешали остальным членам семьи и приводили в ужас прислугу. Со временем Нивея поняла, что чем больше будет запретов, чем больше будут пытаться напугать Клару, тем ярче проявятся ее странные особенности. Мать решила оставить Клару с ее спиритическими трюками, с ее забавами пифии, с ее упорным молчанием в покое, она просто любила младшую дочь, принимая такой, какая есть. Клара, прорицательница, росла как дерево в лесу; говорить она не желала, несмотря на все усилия доктора Куэваса, который стал применять новейшие европейские методы: холодные ванны и лечение электрическим током.

Баррабас сопровождал девочку всегда, днем и ночью, кроме тех случаев, когда бегал к своим подругам. Его огромная тень следовала за ней, такая же молчаливая, как сама Клара. Он бросался к ее ногам, когда она садилась, а ночью спал рядом, храпя, как локомотив. Он сумел так глубоко понять свою хозяйку, что, когда она, словно сомнамбула, двигалась по дому, он следовал за ней в таком же состоянии. В полнолуние можно было видеть, как они бродят по коридорам, подобно двум призракам, парящим в бледном свете луны. Баррабас рос и становился норовистым псом. Он так и не смог понять, что за штука прозрачное стекло; в невинном желании поймать какую-нибудь муху пес частенько бросался на окна. В грохоте разбившихся стекол он падал по ту сторону окна, удивленный и грустный. В те времена стекла привозили из Франции, и собачья привычка превратилась в серьезную проблему, пока Клара не нарисовала на стеклах кошек. Став взрослым, Баррабас перестал забавляться с ножками рояля, что он любил делать, будучи щенком. Инстинкт продолжения рода пробуждался в нем только тогда, когда он унюхивал поблизости сучку, у которой началась течка. И тогда уже ни цепь, ни двери не могли удержать его; преодолевая все преграды на пути, он бросался на улицу и пропадал на два-три дня. Возвращался он всегда с подругой, та следовала за ним, словно паря в воздухе, сраженная его мощью. Детей срочно уводили, чтобы они не видели подобной жути, а садовник обливал собак холодной водой и остервенело пинал ногами, пока Баррабас наконец не отрывался от своей возлюбленной. Пес уходил, оставляя ее умирать во дворе, и Северо из сострадания пристреливал ее.

Отрочество Клары тихо протекало в огромном родительском доме с тремя патио; баловали ее все: старшие братья, Северо, любивший ее больше других детей, Нивея и Нянюшка, из лучших побуждений продолжавшая переодеваться в пугал. Потом братья Клары женились и уехали, одни путешествовать, другие работать в провинции. Огромный дом, который строился в расчете на большую семью, оказался почти пустым, и многие комнаты закрыли. Отзанимавшись с преподавателями, девочка читала, передвигала предметы, бегала с Баррабасом, предсказывала и училась ткать – это было единственное из домашних искусств, которое ей покорилося. С того самого Страстного четверга, когда падре Рестрепо назвал ее одержимой дьяволом, вокруг нее словно возникла тень отчуждения, только родители и братья по-прежнему любили ее. Слухи о ее странных способностях передавались шепотком по всему городу. Клару никто из знакомых никуда не приглашал, и даже двоюродные братья и сестры ее избегали. Мать постаралась возместить отсутствие друзей своей самоотверженной любовью, и усилия ее были

не напрасны: девочка росла веселой. Став взрослой, Клара будет вспоминать о детстве как о лучшей поре своей жизни, вопреки одиночеству и немоте. Всю жизнь она будет хранить в памяти вечера, проведенные с матерью в швейной комнате, где Нивея шила на машинке платья для бедных и рассказывала ей семейные предания и анекдоты. Она показывала дочери старые фотографии на стенах и вспоминала о прошлом.

– Ты видишь этого сеньора, такого серьезного, с бородой пирата? Это дядя Матео, он уехал в Бразилию торговать изумрудами, но одна жгучая мулатка сглазила его. У него выпали волосы, отслоились ногти, зашаталась в деснах зубы. Он пошел к негру-колдуну. Тот дал ему амулет, и у него укрепились зубы, отросли ногти и даже волосы. Взгляни на него, доченька, на нем больше волос, чем на индейце: это единственный в мире лысый, у которого вновь выросли волосы.

Клара, ничего не говоря, улыбалась, а Нивея продолжала рассказывать, потому что привыкла к молчанию дочери. Кроме того, мать надеялась, что, наслушавшись разных историй, дочь рано или поздно задаст какой-нибудь вопрос и тем самым снова заговорит.

– А этот, – рассказывала она, – это дядя Хуан. Я его очень любила. Однажды он с шумом выпустил газы, и это стало ему смертным приговором, ужасное несчастье! Случилось это благоуханным весенним днем, во время пикника. Все мы, двоюродные сестры, были в муслиновых платьях и в шляпках, украшенных цветами и лентами, а юноши блистали в своих лучших воскресных костюмах. Хуан снял с себя белый пиджак – я как сейчас его вижу! – засучил рукава и ловко повис на ветке дерева – он был хорошим спортсменом и хотел покрасоваться перед Констанцей Андраде, королевой сезона, из-за которой, едва увидев ее, он просто голову потерял. Хуан выполнил две безупречные гимнастические фигуры, потом полный оборот и вот тут-то с шумом испустил газы. Не смейся, Клара! Это было ужасно! Наступила мертвая тишина, и вдруг королева сезона начала безудержно хохотать. Хуан надел пиджак, жутко побледнел, отошел не торопясь в сторону, и больше мы его никогда не видели. Его искали даже в Иностранном легионе, спрашивали о нем во всех консульствах, но больше никто никогда ничего не слышал о нем. Я думаю, он стал миссионером и поехал к прокаженным на остров Пасхи – там, вдали от морских путей, можно забыть все и быть забытым всеми, этого острова даже нет на многих картах. С тех пор, вспоминая о нем, его называют Хуан Пук.

Нивея подводила дочь к окну и показывала на пень от тополя.

– Это было громадное дерево, – говорила она. – Я приказала спилить его еще до рождения своего первенца. Дерево было таким высоким, что, говорят, с вершины его можно было видеть весь город, но единственный, кто забрался так высоко, был слепым и не мог ничего увидеть. Каждый мальчик из рода дель Валье, когда ему предстояло надеть длинные брюки, должен был забраться на дерево и доказать свою храбрость. Это было как обряд посвящения. На дереве осталось полным-полно зарубок. Я своими глазами видела их, когда его свалили. На нижних ветках, толстых, как печная труба, были видны зарубки, оставленные прадедами, залезавшими на дерево в своем детстве. По инициалам, вырезанным на стволе, узнавали о тех, кто забрался всех выше, о самых отважных, а также о тех, кто струсил. И вот настала очередь и для Херонимо, слепого двоюродного брата, лезть на дерево. Он полез, ощупывая ветви, ни секунды не колеблясь, ведь он не видел вершины и не ощущал пустоты. Он добрался до верхушки, начал вырезать первую букву «Х» и, не закончив, рухнул как подрубленный, упав вниз головой к ногам отца и братьев. Ему было пятнадцать лет. Завернув в простыню, его, мертвого, принесли матери, несчастной женщине, а она стала плевать всем в лицо, выкрикивала ругательства, какие срываются только с языка матросов, проклинала всех, кто подстрекал ее сына влезть на дерево, и в конце концов, надев на нее смиренную рубашку, ее отвезли к монахиням – сестрам милосердия. Я знала, что придет время и мои сыновья должны будут лезть на это проклятое дерево. Поэтому я и приказала спилить его. Я не хотела, чтобы Луис и другие дети росли под тенью этого эшафота.

Иногда Клара вместе с матерью и двумя или тремя ее подругами-суфражистками ходила на фабрики. Там сеньоры, встав на ящики, обращались с речами к работницам, а управляющие и хозяева, насмехаясь и злясь, наблюдали за ними издалека. Несмотря на свой юный возраст, Клара сумела понять всю нелепость подобных сцен и описала в своих тетрадах, как мать и ее подруги, одетые в меха и замшевые сапожки, вещают о рабстве, равенстве и правах покорной толпе работниц в грубых передниках из простой ткани и с красными обмороженными руками. С фабрики суфражистки шли в кафе на Пласа де Армас, пили чай с пирожными, рассуждали об успехах кампании – легкомысленные и пламенные идеалистки. Иногда мать брала ее с собой в отдаленные кварталы, куда они приезжали в машине, груженной продуктами и одеждой, которую Нивея и ее подруги шили для бедных. А вернувшись домой, девочка писала, что благотворительность не способна установить справедливость. Ее отношения с матерью были близкими и радостными. Нивея, хотя в доме было полно детей, вела себя с ней так, как если бы Клара была ее единственным ребенком, и в конце концов любить Клару стало своеобразной семейной традицией.

Нянюшка уже давно превратилась в женщину без возраста, но сохранила нетронутой силу молодости; она продолжала прятаться в темных углах, пытаясь испугать девочку. Дни напролет она помешивала палкой в медном тазу, стоящем на адском огне посреди третьего двора. В нем булькало айвовое варенье, густая жидкость цвета топаза, которую, когда она застывала, Нивея относил беднякам. Нянюшка привыкла жить, окруженная детьми, и, когда старшие выросли и разъехались, всю свою нежность отдала Кларе. Хотя девочка была уже далеко не в том возрасте, когда ее надо было купать как младенца, Нянюшка усаживала ее в ванну, наполненную водой, пахнувшей жасмином и базиликом. Она тщательно терла ее губкой, не забывая об ушах и пальцах ног, растирала ее одеколоном, пудрила кисточкой из лебяжьего пуха, расчесывала волосы долго и терпеливо, пока они не становились блестящими и гладкими, точно морские растения. Она одевала Клару, убирала кровать, приносила ей на подносе завтрак, заставляла принимать липовый настой, успокаивающий нервы, яблочный – для желудка, лимонный – для того, чтобы кожа была прозрачной, настоем из розы – для печени и из мяты – для свежести во рту. Вскоре девочка превратилась в прекрасное ангелоподобное существо, что бродило по всем патио, коридорам и комнатам, окутанное ароматом цветов, в шорохе накрахмаленных юбок, в сиянии лент и кудрей.

Клара провела свое детство и вошла в юность в стенах своего дома, в мире удивительных рассказов, безмятежного молчания, в том мире, где время не отмечалось часами или календарями, где предметы жили своей собственной необыкновенной жизнью и где все могло случиться. Призраки сидели за столом вместе с людьми, разговаривали с ними, прошлое и будущее являлись частью единого целого, а события настоящего напоминали беспорядочные картинки калейдоскопа. Я испытываю наслаждение, читая Кларины дневники того времени, – в них описывается волшебный мир, которого уже не существует. Клара жила в мире, придуманном для нее, оберегаемая от жизненных невзгод. В этом царстве смешалась прозаическая правда реальности с поэтической правдой снов, в этом мире не действовали законы физики или логики. Клара прожила детство и отрочество, погруженная в свои фантазии, с духами, населяющими воздух, воду и землю, прожила такая счастливая, что целых девять лет не чувствовала потребности заговорить.

Все уже давно потеряли надежду снова услышать ее голос. И вот, в день ее рождения, после того как она задула девятнадцать свечей на шоколадном торте, словно расстроенное пианино, прозвучал голос, который Клара берегла все это время.

- Скоро я выйду замуж, – сказала она.
- За кого? – спросил Северо.
- За жениха Розы, – ответила Клара.

И только тут все спохватились, что она впервые за девять лет заговорила, и чудо потрясло дом до основания, вызвав слезы у всей семьи. Начались бесконечные звонки, новость полетела по городу, сообщили доктору Куэвасу – он никак не мог поверить в такое чудо. В этой суматохе все забыли, что же сказала Клара, и вспомнили только тогда, когда спустя два месяца на пороге дома появился Эстебан Труэба, которого не видели со дня похорон Розы, и попросил Клариной руки.

* * *

Эстебан Труэба вышел из поезда и сам понес два чемодана. Вокзал, который, держа в своих руках все железные дороги страны, соорудили когда-то англичане по примеру вокзала Виктории, совершенно не изменился с того времени, когда в последний раз, так много лет назад, Эстебан уезжал отсюда. Те же грязные стекла, дети – чистильщики сапог, продавцы хлебцев, сладостей, носильщики в черных шапках с британской эмблемой короны, которую никому и в голову не пришло заменить на другую, с цветами национального флага. Эстебан сел в экипаж и назвал адрес матери. Город показался ему незнакомым, в нем царил хаос новой жизни: женщины в коротких платьях, демонстрирующие всем и каждому свои икры, мужчины в жилетах и брюках с напуском, рабочие, роющие ямы на мостовой, чтобы поставить столбы, убирающие столбы, чтобы построить здания, разрушающие здания, чтобы посадить деревья, уличные торговцы и мастеровые, мешающие всем, кричащие о заточке ножей, о жареных земляных орехах, о кукле, что танцует сама по себе, без проволоки: «посмотрите сами, потрогайте рукой». Запахи помоек, пригоревшего жаркого, фабрик, автомобилей, сталкивающихся с экипажами и конками, влекомыми живой силой тяги, как тогда называли старых лошадей, – они еще служили городу; сопение толпы, гул бегущих, спешащих туда-сюда – всем некогда, все хотят успеть вовремя. Эстебан почувствовал себя не в своей тарелке. Сейчас он ненавидел город больше, чем раньше, чем тогда, когда думал о нем в деревне; ему вспомнились сельские проселки, дожди, которыми мерили время, необозримая тишина пастбищ, чистый покой реки и его тихий дом.

– Не город, а дерьмо, – заключил он.

До дома, где он вырос, Эстебан доехал быстро. Он был потрясен, увидев, каким безобразным стал их квартал за то время, как богатые захотели жить выше всех – и город полез на отроги Кордильер. От площади, где он играл ребенком, ничего не осталось, лишь заброшенный пустырь, свалки, где стояли телеги торговцев и рылись в отбросах бродячие собаки. Их дом разрушался. Он увидел воочию неумолимость времени. На застекленной, уже расшатанной двери с экзотическими птицами на отшлифованном стекле, которое вышло из моды, висел бронзовый дверной молоток: женская рука, держащая шар. Он стукнул и какое-то время, показавшееся ему вечностью, ждал; наконец дверь открылась посредством веревки, что была привязана к щеколде и шла к лестничной площадке. Его мать жила на втором этаже, а нижний сдавала пуговичной мастерской. Эстебан стал подниматься по скрипучим ступеням, их уже давно не натирали воском. Старая-престарая служанка, о существовании которой он забыл начисто, ждала его наверху и встретила со слезами, подобно тому как встречала его, когда он в пятнадцать лет возвращался из нотариальной конторы, где зарабатывал на жизнь: снимал копии с документов по продаже имущества и имений совершенно незнакомых ему людей. Почти ничего не изменилось, даже мебель осталась на тех же местах, но Эстебану все показалось другим – деревянный пол коридора был истерт, стекла разбиты и неумело залатаны кусками картона, пыльные пальмы чахли в грязных глиняных горшках, стоящих на фаянсовых облупившихся подставках. Зловоние от мочи и прокисшей еды вызывало у него спазмы в желудке. «Какая бедность!» – подумал Эстебан, не задавая себе вопроса, куда ушли все деньги, которые он посылал сестре, чтобы им жилось прилично.

Ферула вышла навстречу, поздоровалась. Она очень изменилась, от пышнотелой женщины, какой он ее помнил, ничего не осталось, она похудела, на угловатом лице выделялся

огромный нос. Вид у сестры был меланхолический, она казалась подслеповатой, от нее исходил крепкий запах лаванды и старой одежды. Они молча обнялись.

– Как себя чувствует мама? – спросил Эстебан.

– Иди к ней, она ждет тебя, – ответила Ферула.

Они пошли по коридору, миновали комнаты с высокими потолками и узкими окнами – все одинаковые, темные. Стены их выглядели какими-то траурными, хотя и были оклеены цветастыми обоями с изображениями томных барышень. Все было покрыто копотью жаровни и патиной времени и бедности. Издалека доносился голос радиодиктора, рекламирующего пилюли доктора Росса, маленькие, но эффективные при запоре, бессоннице и затрудненном дыхании. Остановились перед дверью спальни доньи Эстер Труэбы.

– Она здесь, – сказала Ферула.

Эстебан открыл дверь, ему потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к темноте. В лицо ударил запах лекарств и гниения, сладковатый запах пота, сырости, заточения и какой-то еще, который поначалу он не смог определить, но скоро тот прилип к нему, как чума, – запах разлагающейся плоти. Свет тонкой струйкой лился через полуоткрытое окно. Он увидел широкую кровать, на которой умер его отец и где спала его мать со дня своей свадьбы, – кровать резного черного дерева под балдахином с вышитыми гладью ангелами и остатками красной парчи, поблекшей от времени. Мать полулежала. Это была глыба плотного мяса, чудовищная пирамида из жира и тряпья, увенчанная маленькой лысой головой с нежными, наивными, удивительно живыми голубыми глазами. Болезнь превратила ее в монолит, суставы не сгибались, голова не поворачивалась, пальцы скрючились подобно лапам окаменевшего животного, и чтобы она могла полулежать в кровати, в изголовье был поставлен ящик, который поддерживался деревянным брусом, прикрепленным к стене. Ход времени прочитывался по следам, что оставил деревянный брус на стене, по следам страдания и боли.

– Мама... – пробормотал Эстебан, и голос его оборвался.

Грудь сдавило от сдерживаемых рыданий, и в одно мгновение стерлись горькие воспоминания о бедном детстве, прогорклых запахах, холодных утрах, жирном супе, о больной матери, неведомо где гуляющем отце и о ярости, что пожирала его изнутри с того дня, как он стал себя помнить. Все забылось, кроме радостных мгновений, когда эта незнакомая женщина, лежащая в кровати, нянчила его на своих руках, дотрагивалась до лба, испугавшись, что у него температура, пела ему колыбельную песенку, склонялась вместе с ним над страницами книг, страдала от горя, когда видела, что ему нужно рано вставать и идти на работу, еще ребенку, плакала от радости за него, рыдала, когда он возвращался поздно, мама, из-за меня.

Донья Эстер протянула руку, но это было не приветствием, а жестом, которым она хотела остановить его.

– Сын, не подходите. – Голос ее не изменился, таким Эстебан и помнил его, певучим и молодым, как у девушки.

– Это из-за запаха, – сухо пояснила Ферула. – Он не исчезает.

Эстебан откинул уже обтрепанное покрывало из камчатной ткани и увидел ноги матери. Две синеватые колонны, слоноподобные, покрытые язвами, где, проделав тоннели, жили личинки мух и червяки, две ноги, гниющие при жизни хозяйки, со ступнями бледно-синеватого цвета, без ногтей, исчезнувших в гное, в черной крови, в мерзких червях, питавшихся ее плотью, – «Боже, мама, моей плотью».

– Доктор хочет ампутировать их, сын, – сказала донья Эстер спокойным, юным голосом, – но я слишком стара для операции и очень устала от страданий, уж лучше так и умру. Но я не хотела умирать, не повидав вас, ведь все эти годы я думала, что вас нет в живых и что письма от вас пишет ваша сестра, дабы не причинять мне боли. Встаньте к свету, сын, мне хочется как следует разглядеть вас. Боже! Вы похожи на дикаря!

– Я жил в деревне, мама, – пробормотал он.

– Конечно! Выглядите вы еще очень крепким. Сколько же вам лет?

– Тридцать пять.

– Прекрасный возраст для женитьбы и тихой жизни, и я могла бы умереть спокойно...

– Вы не умрете, мама! – застонал Эстебан.

– Я хочу быть уверенной в том, что у меня будут внуки, родные мне по крови, что они будут носить нашу фамилию. Ферула потеряла всякую надежду выйти замуж, но вы должны подыскать себе супругу. Женщину порядочную, христианку. Но сперва вам нужно подстричься и сбрить бороду. Вы меня слышите?

Эстебан кивнул. Он встал на колени перед матерью и припал лицом к ее раздувшейся руке, но запах тотчас оттолкнул его. Ферула подошла и вывела его из комнаты, полной страдания. За дверями он глубоко вздохнул, почувствовал прилипший к ноздрям запах, и тут опять ощутил ярость, столь знакомую ему, приливавшую горячей волной к голове, ослеплявшую глаза. Эта ярость вырвала из его уст проклятия, достойные пирата. «Из-за того что все это время я не думал о вас, мама, оттого что не заботился, не любил, не был достаточно внимательным, ярость к себе, сукин я сын, нет, простите, мама, я не то хотел сказать, черт побери, она умирает, старая, а я ничего не могу поделать, даже уменьшить боль, спасти от гниения, от этого ужасного запаха, от этого смертельного бульона, в котором Вы варитесь, мама...»

Два дня спустя донья Эстер Труэба умерла на своем ложе пытки, где она так мучилась все последние годы. В час смерти она оказалась одна. Ее дочь Ферула ушла, как обычно по пятницам, в квартал Милосердия, в приюты для бедных и в монастырь, читать молитвы нищим, безбожникам, проституткам и сиротам – а те бросали в нее мусор, плевались и выливали на нее содержимое плевательниц. Она стояла на коленях в галерее небольшого монастыря, неустанно выкрикивала «Отче наш» и «Аве Мария», терпела все свинские выходки нищих, проститутки и сирот, плакала от унижения, взывала к прощению тех, кто не ведает, что творит, терзалась оттого, что слабеет, что смертельная усталость превращает ее ноги в вату, что летний жар затопляет грехом ее тело. «Отведи от меня эту чашу, Боже, ведь все нутро у меня горит адским пламенем. О Иисусе, я так послушна Твоей воле, так боюсь греха, Отче наш, не дай мне впасть в искушение».

Эстебана тоже не было рядом с доньей Эстер в безмолвный час ее смерти. Он ушел навестить семью дель Валье, посмотреть, не осталось ли у них незамужней дочери. После стольких лет жизни в глуши он не мог сообразить, как выполнить обещание, данное матери, подарить ей законных внуков, и решил, что, если Северо и Нивея его приняли прежде, когда он был бедным женихом красавицы Розы, нет никакой причины не принять его снова, теперь, когда он стал богатым и ему уже не надо рыть землю, чтобы найти золото, напротив, у него есть свой счет в банке и деньги, необходимые для свадьбы.

Вечером Эстебан и Ферула нашли свою мать в постели уже мертвой. На устах ее была тихая улыбка, словно в последний миг жизни боль перестала терзать ее тело.

* * *

Когда Эстебан Труэба пришел к ним с визитом, Северо и Нивея вспомнили те слова, что Клара произнесла после долгого молчания; и они ничуть не удивились, когда гость спросил, нет ли у них какой-нибудь дочери на выданье. Они рассказали, ничего не утаивая, что Ана постриглась в монахини, Тереса очень больна, а остальные замужем, кроме Клары, самой младшей, она свободна, но несколько эксцентрична и мало пригодна для домашней жизни и матримониальных обязанностей. Как истинно порядочные люди, они поведали ему о странностях младшей дочери, не скрыв того, что половину своей жизни она не говорила, потому что не хотела говорить, а не оттого, что не могла, как очень толково объяснил им румын Ростопов и затем подтвердил доктор Куэвас. Но Эстебан Труэба был не из тех, кого можно было испугать историями о призраках, бродящих по коридорам, о предметах,двигающихся с помощью таинственной силы, или о предсказаниях несчастий, и уж тем более его нельзя было испу-

гать рассказом о долгом молчании, ибо молчание он считал добродетелью. Он находил, что ни одно из этих чудачеств не мешает Кларе родить здоровых детей, и попросил представить его девушке. Нивея вышла поискать дочь, а мужчины остались в гостинной одни, и Труэба решил воспользоваться случаем и откровенно рассказать о своем экономическом положении.

– Пожалуйста, не продолжайте, Эстебан! – прервал его Северо. – Прежде всего вам нужно познакомиться с девушкой, узнать ее лучше, а кроме этого, не худо было бы узнать желание самой Клары. Разве не так?

Вскоре Нивея вернулась вместе с дочерью. Девушка вошла в гостиную с обветренными щеками и черными ногтями, она помогала садовнику высаживать клубни георгинов. Ясновидение изменило ей в этот день: она не была готова к встрече будущего жениха. Увидев ее, Эстебан встал пораженный. Он помнил Клару худенькой, астматической малюткой, отнюдь не грациозной, а девушка, которая предстала перед ним, напоминала великолепную статуэтку слоновой кости, с нежным лицом, копной каштановых волос, вьющихся в беспорядке, кольцами выбивающихся из прически, с печальными глазами, которые становились насмешливыми и искрящимися, когда, слегка закинув голову назад, она смеялась очень искренним и открытым смехом. Она поздоровалась с ним за руку без какой-либо робости.

– Я вас ждала, – просто сказала она.

Уже прошли два часа, а визит вежливости все продолжался. Говорили о любви, о путешествиях в Европу, о политическом положении в стране и о зимних холодах, пили мистелу и ели пирожные из слоеного теста. Эстебан наблюдал за Кларой со всей тактичностью, на какую только был способен, и чувствовал, как девушка все более и более пленяет его. Он не мог припомнить, чтобы после того великого дня, когда он увидел Розу, красавицу, покупающую анисовую карамель в кондитерской на Пласа де Армас, кто-то еще заинтересовал его так, как Клара. Он про себя сравнивал двух сестер и признался, что Клара превосходила сестру в обаянии, хотя Роза, несомненно, была гораздо более красивой. Стемнело, пришли две служанки – задернуть занавески и зажечь свечи, только тут Эстебан сообразил, что визит его слишком затянулся. О да, его манеры оставляли желать много лучшего. С каменным лицом он попрощался с Северо и Нивеей и попросил разрешения снова навестить Клару.

– Надеюсь, я не наскучил вам, Клара, – сказал он, краснея. – Я человек грубый, провинциальный и по крайней мере лет на пятнадцать старше. Не знаю, как вести себя с такой юной девушкой, как вы...

– Вы хотите жениться на мне? – спросила Клара, и он заметил, что ее ореховые глаза иронически блеснули.

– Клара, побойся Бога! – воскликнула ее мать в ужасе. – Простите ее, Эстебан, девочка всегда была дерзкой.

– Я хочу знать это, чтобы не терять времени, – пояснила Клара.

– Мне тоже по сердцу прямота, – радостно улыбнулся Эстебан. – Да, Клара, поэтому я и пришел.

Клара взяла его под руку и проводила до выхода. Прощаясь, они взглянули друг на друга, и Эстебан понял, что она согласна, и радость наполнила его. В экипаже он ехал, улыбаясь, не смея поверить своему счастью и не понимая, почему такая очаровательная девушка, как Клара, приняла его предложение, даже не познакомившись с ним. Он не знал, что она уже давно увидела свою судьбу и поэтому давно была готова выйти замуж без любви.

Из уважения к трауру в семье Эстебана помолвку отложили на два месяца; Эстебан ухаживал за Кларой по старинке, так же как прежде ухаживал за ее сестрой Розой, и ему даже в голову не приходило, что Клара не любит анисовую карамель, а акростики вызывают у нее смех. В конце года, в рождественские дни, официально через газету объявили о помолвке. Эстебан и Клара обменялись обручальными кольцами в присутствии родственников и друзей общим числом в сто человек на банкете Пантагрюэля: беспрерывно приносились подносы с

фаршированными индюшками, с засахаренными поросятами, со свежепойманными угрями, с лангустами в сухарях, с живыми устрицами, апельсинно-лимонными лепешками от кармелиток, орехово-лимонными – от доминиканок, шоколадом и гоголем-моголем от монахинь Святой Клариссы. Приносили шампанское, несколько ящиков которого доставили из Франции благодаря консулу: тот, пользуясь дипломатическими привилегиями, провез их контрабандой. Все это подавалось старыми слугами в черных повседневных передниках, чтобы придать празднику видимость скромной семейной встречи, так как еще с давних времен, когда суровые и несколько мрачные потомки самых мужественных кастильских и баскских конкистадоров стали родоначальниками этой семьи, всяческая помпезность считалась пошлостью и порицалась как грех светского тщеславия и признак дурного вкуса. Клара предстала видением из белых кружев шантли и свежих камелий, она трещала как сорока, словно мстила за девятилетнее молчание, танцевала с женихом и совершенно забыла о духах, которые из-за занавесок отчаянными знаками давали о себе знать, но в толчее и суматохе она их не замечала. Сама церемония помолвки была точно такой же, как в эпоху колониального владычества. В десять часов вечера один из слуг зазвенел хрустальным колокольчиком, музыка смолкла, танцы прекратились, и гости собрались в главной зале. Маленький наивный священник, облаченный в одеяние для торжественной мессы, прочитал путаную проповедь, в которой восхвалял неясные и нереальные добродетели жениха и невесты. Клара его не слушала; когда затихли музыка и голоса гостей, она вдруг услышала шепот духов и поняла, что уже много часов не видела Баррабаса. Она поискала его взглядом, попыталась разобраться в своих ощущениях, но мать, толкнув локтем, вернула ее к действительности. Священник закончил свою речь, благословил золотые кольца, и Эстебан сразу же надел одно кольцо на палец невесте, а другое себе.

В этот момент ужасный крик потряс собравшихся. Люди расступились, и Клара увидела Баррабаса. Он был черен и огромен как никогда, в его спину был по рукоятку вонзен мясницкий нож. Баррабас истекал кровью, как бык, его длинные, словно у молодого жеребца, ноги дрожали, с морды стекала струя крови, глаза были затянуты пленкой, едва живой, он двигался вперед зигзагами, как раненый динозавр. Клара упала на обитый французским шелком диван. Пес подошел к ней, положил могучую голову тысячелетнего зверя на колени и пристально посмотрел на нее влюбленными и уже почти слепыми глазами; белое платье из кружев шантли, французский шелк дивана, персидский ковер и паркет – все уже было в крови. Баррабас умирал медленно, не сводя глаз с Клары, а та ласкала его, гладила уши, шептала слова утешения; наконец, простонав, он навеки затих. Тогда все словно бы очнулись от кошмара, поднялся шум, объятые страхом гости стали торопливо прощаться; обходя лужи крови, хватали свои меховые боа, цилиндры, трости, зонтики, дамские сумочки. И вскоре в гостиной остались только Клара с собакой на коленях, ее родители – они, обняв друг друга, застыли, точно парализованные, охваченные дурным предчувствием, – и жених, не понимающий, отчего поднялся такой переполох, ведь просто-напросто сдохла собака. Потом он увидел, что Клара будто погрузилась в сон, тогда он взял ее на руки и отнес в спальню; благодаря заботам Нянюшки и солям доктора Куэваса девушка не впала вновь в немоту и оцепенение. Эстебан Труэба попросил садовника помочь ему, вдвоем они подняли труп Баррабаса – тот, мертвый, словно потяжелел, так что его почти невозможно было нести, и уложили в повозку.

* * *

К свадьбе готовились целый год. Нивея занялась приданным Клары, ведь та не проявляла никакого интереса к содержанию сандаловых сундуков; она все пыталась сдвинуть с места стол с трех ножек и гадала на картах. Искусно вышитые простыни, льняные скатерти и нижнее белье, которое десять лет назад монашки соткали для Розы, с переkreщенными инициалами Труэбы и дель Валье,годились для Кларинаго приданого. Нивея в Буэнос-Айресе, в Париже и Лондоне заказала дорожные костюмы, платья для деревни, праздничные наряды, модные шляпки, туфли и сумки из кожи ящериц и из замши и многое-многое другое. Все это

было упаковано в шелковистую бумагу, переложено лавандой и листьями эвкалипта, но на все свое приданое невеста лишь раз взглянула рассеянно.

Эстебан Труэба нанял бригаду каменщиков, плотников, водопроводчиков и стал возводить прочный, просторный, с большими окнами дом – такой дом, какой только можно вообразить и какой должен был стоять тысячу лет для будущих поколений многочисленной семьи Труэба. Он поручил руководить строительством французскому архитектору, заказал материал за границей. Он хотел, чтобы такого дома больше не было нигде на свете – с немецкими витражами, с цоколем, отшлифованным в Австрии, с бронзовыми английскими кранами, с полом из итальянского мрамора, замками и задвижками, выписанными по каталогу из Соединенных Штатов, – их привезли с перепутанными инструкциями и без ключей. Напуганная расходами Ферула пыталась убедить брата не безумствовать, не покупать французскую мебель, висячие люстры и турецкие ковры; говорила, они вот-вот разорятся, напоминала о сумасбродствах их отца. Но Эстебан отвечал, что он достаточно богат, чтобы позволить себе подобную роскошь, и грозил, если она не перестанет ему мешать, обить двери серебром. Тогда она стала твердить, что мотовство, несомненно, является смертным грехом и Бог накажет их за то, что они тратят деньги на всякую нуворишскую пошлость, а не раздают их беднякам.

Хотя Эстебан Труэба не был сторонником нововведений, с презрением относился ко всем нынешним переменам, он хотел, чтобы дом при сохранении классического стиля был построен, как строили в последнее время в Европе и Северной Америке, со всеми удобствами. Ему очень хотелось, чтобы его дом даже отдаленно не напоминал здешние здания. Он отрекался от трех дворишков, коридоров, заржавленных раковин, темных комнат, пыльной черепицы, стен из необожженного кирпича, побеленных известью. Ему виделся дом в два или три этажа, мерещились ряды белоснежных колонн, парадная лестница, которая, слегка закругляясь, вела бы в беломраморную залу, огромные, освещенные солнцем окна – словом, дом, в котором царили бы порядок и гармония, современный и опрятный дом, какие строят в цивилизованных странах, дом для его новой жизни. Этот дом должен стать отражением его самого, его семьи, дом должен был смыть пятно с фамилии, запачканной его отцом. Он хотел, чтобы с улицы дом сразу бросался в глаза, и велел разбить французский сад с огромным тентом, цветочными клумбами, ровным искусственным лугом, фонтанами и статуями богов Олимпа и еще, может быть, со статуей какого-нибудь храброго индейца, обнаженного и увенчанного перьями, – в качестве уступки патриотам Америки. Он и представить себе не мог, что этот пышный, точно раздувающийся от важности, и в то же время компактный особняк, похожий среди зелени и грубых городских построек на шляпу, вскоре обрастет по прихоти Клары пристройками, многочисленными винтовыми лестницами, ведущими в пустоту, башнями, неоткрывающимися оконцами, дверями, висящими в воздухе, извилистыми коридорами и круглыми дырами в стенах для того, чтобы можно было разговаривать во время сиесты. Всякий раз, когда нужно будет разместить нового гостя, Клара будет отдавать распоряжение построить еще одну комнату в любой части дома, а если духи укажут, что где-то имеются спрятанные сокровища или непогребенный труп в фундаменте, прикажет снести ту или иную стену, и в конце концов дом превратится в заколдованный лабиринт, и в этом жилище, бросившем вызов всем законам архитектуры, никогда не будет чистоты и порядка. Но тот дом, который построил Труэба и который все называли «великолепным домом на углу», был величественным и прекрасным, он даже гармонировал со всем, что его окружало. Новое жилье должно было помочь хозяину забыть лишения своего детства. Клара ни разу не взглянула на особняк, пока его строили. Казалось, дом так же мало интересует ее, как и приданое, и она возложила все заботы на своего жениха и его сестру.

Ферула после смерти матери оказалась в одиночестве, не зная, чему можно было бы теперь посвятить жизнь, в возрасте, когда уже и не мечтают выйти замуж. Сначала в каком-то лихорадочном рвении благочестия она ежедневно посещала дома бедняков. Это привело к хроническому бронхиту, но не дало покоя ее измученной душе. Эстебан хотел, чтобы она

ездила по свету, покупала наряды, развлекалась – впервые за время своего печального существования; но она слишком привыкла к жизни без развлечений, слишком долго жила взаперти. Она всего боялась. Будущее бракосочетание брата ввергло ее в панику, она думала, что брак вновь отдалит от нее Эстебана, а ведь брат был сейчас ее единственной поддержкой. Она боялась окончить дни в приюте для старых дев из хороших семей, с вязальным крючком в руках, и поэтому почувствовала себя безумно счастливой, когда поняла, что Клара несведуща во всем, что касается домашних дел. Всякий раз, когда Клара сталкивалась с необходимостью решить что-либо конкретное, она становилась замкнутой и рассеянной. «В ней есть что-то от дурочки», – в восторге заключила Ферула. Было совершенно ясно, что Клара не в состоянии управлять таким домом, какой строит Эстебан, что ей будет нужна помощь. Ведя разговор весьма хитроумно, Ферула давала Эстебану понять, что его будущая жена не годится для ведения хозяйства и что она, со своей так хорошо известной ему жертвенностью, готова помогать ей во всем. Эстебан отмалчивался. День бракосочетания неуклонно приближался, и Ферула, проклиная судьбу, все чаще приходила в отчаяние. Уверенная, что с братом она ни о чем не договорится, Ферула стала искать случая поговорить наедине с Кларой и однажды в субботу, в пять часов дня, встретила ее на улице. Она пригласила Клару во французский отель на чашку чая. Они сели за столик: множество пирожных с кремом, баварский фарфор; в глубине зала девушки исполняли меланхолический струнный квартет. Ферула, не зная, как приступить к разговору, молча смотрела на будущую невестку, та выглядела пятнадцатилетней девочкой, голос после долгого молчания все еще казался как бы расстроенным. Не проронив ни слова, они управились с целым подносом печенья и выпили по две чашки жасминного чая. Наконец Клара поправила выбившийся локон, упавший ей на глаза, улыбнулась и ласково похлопала Ферулу по руке.

– Не бойся. Ты будешь жить вместе с нами, и мы станем с тобой как сестры.

Ферула вздрогнула – неужели Клара и вправду умеет читать чужие мысли, как о том ходят слухи. Из гордости она собиралась отвергнуть предложение жить вместе с молодоженами, но Клара не дала ей и слова сказать. Она наклонилась и поцеловала Ферулу в щеку так искренно и невинно, что та, потрясенная, разрыдалась. Ферула уже много лет как не пролила ни единой слезинки и только теперь поняла, насколько нуждалась хоть в капле нежности. Она не помнила, чтобы хоть раз что-нибудь тронуло ее так глубоко, как этот Кларин поцелуй. Она наплакалась вдоволь, давая выход горестям и печальям прошлых лет, плакала от дружеского участия Клары, а та помогала ей вытирать слезы и кормила ее, зареванную, кусочками пирожного и поила чаем. Они проплакали и проговорили до восьми вечера и здесь, во французском отеле, договорились, что будут дружить; и дружба их длилась много лет.

Когда кончился траур по донье Эстер и был готов «великолепный дом на углу», Эстебан Труэба и Клара дель Валье поженились, причем церемония бракосочетания была совсем скромной. Эстебан подарил Кларе бриллиантовые украшения, она нашла их очень изящными, спрятала в обувную коробку и тут же о них забыла. Они отправились на пароходе в Италию, и уже на второй день пути, несмотря на то что плавание вызвало у Клары морскую болезнь, а невольное заточение в каюте – астму, Эстебан почувствовал себя влюбленным юношей. Сидя рядом с ней в узкой каюте, прикладывая ей ко лбу мокрое полотенце и поддерживая ее во время приступов тошноты, он ощущал себя счастливым и страстно желал ее, хотя и понимал, что сейчас она не может отдаться ему. На четвертый день она почувствовала себя лучше, и они вышли на палубу полюбоваться морем. Когда он увидел ее обветренный, покрасневший нос, услышал, как она смеется по любому поводу, Эстебан поклялся себе, что рано или поздно заставит ее влюбиться, она полюбит его так, как он того хочет, даже если ему придется лезть вон из кожи. Он понимал, конечно, что Клара не принадлежит ему и что, если она будет продолжать жить в мире призраков, в мире столиков,двигающихся сами по себе, и карт, определяющих будущее, она никогда и не станет ему принадлежать. Природной чувственности Клары ему было

недостаточно. Он хотел гораздо большего, чем ее тело, он хотел завладеть непонятной ему яркой сутью ее натуры, а она ускользала от него даже в минуты, когда, казалось, задыхается от наслаждения. Он чувствовал, что руки у него чересчур тяжелые, ноги чересчур большие, голос грубый, борода колючая. Понимал, что привычка к насилию и проституткам слишком сильна в нем, но он хотел заполучить ее, хотя бы ему пришлось вывернуться для этого наизнанку.

Они вернулись из свадебного путешествия через три месяца. Ферула ожидала их в новом доме, где все еще пахло краской и цементом, но уже были расставлены цветы и блюда с фруктами, как перед отъездом распорядился Эстебан. Через порог дома Эстебан перенес жену на руках. Сестра, к своему удивлению, не почувствовала ревности и нашла, что Эстебан выглядит помолодевшим.

– Женидьба пошла тебе на пользу, – сказала она.

Она повела Клару осмотреть дом. Клара окидывала комнаты мимолетным взглядом и находила все очень милым; восхищалась она с той же учтивостью, с какой приходила в восторг от захода солнца на море, площади Святого Марка и бриллиантовых украшений. Перед дверями комнаты, предназначенной для нее, Эстебан попросил Клару закрыть глаза и, взяв за руку, провел на середину спальни.

– Теперь можешь открыть, – сказал он в упоении.

Клара осмотрелась. Это была большая комната со стенами, обитыми синим шелком, с английской мебелью, огромными окнами с балконами, выходящими в сад, и кроватью под балдахин с газовыми занавесками. Кровать напоминала парусник, плывущий по тихим водам синего шелка.

– Очень мило, – проговорила Клара.

Тогда Эстебан попросил ее посмотреть под ноги. Он приготовил для нее прелестный сюрприз. Клара опустила глаза и закричала в ужасе: она стояла на черной спине Баррабаса – тот, превращенный в ковер, лежал, раскинув лапы, с нетронутой головой, и стеклянными глазами смотрел на нее с беззащитностью чучела. Муж успел подхватить ее, иначе она упала бы на пол.

– Я же тебе говорила, Эстебан, не делай этого, – сказала Ферула.

Шкуру Баррабаса тотчас унесли из комнаты и сложили в углу подвала, рядом с таинственными ящиками дяди Маркоса, где лежали его магические книги и другие сокровища. Там, упорно противясь моли и забвению, она ждала своего часа, пока новые поколения дель Валье не вынесли ее на свет божий.

Очень скоро всем стало ясно, что Клара в положении. Нежность, которую прежде испытывала Ферула к невестке, превратилась в страсть заботиться о ней, в самоотверженное служение и беспредельную терпимость к ее рассеянности и чудачествам. Для Ферулы, которая посвятила всю свою жизнь заботам о медленно гниющей старой матери, ухаживать за Кларой стало верхом блаженства. Она купала ее в воде, пахнувшей жасмином и базиликом, терла губкой, намыливала, опрыскивала одеколоном, пудрила пуховкой из лебединого пуха и расчесывала волосы, пока они не становились мягкими, подобно морским водорослям, – словом, делала все так, как до нее это делала Нянюшка.

Задолго до того, как он успел насытиться молодой супругой, Эстебан Труэба вынужден был вернуться в Лас-Трес-Мариас. В имении он не был уже больше года, и там, несмотря на все усердие Педро Сегундо Гарсиа, требовалось присутствие хозяина. Имение, недавно казавшееся ему раем и бывшее его гордостью, теперь стало вызывать раздражение. Он смотрел на пасущихся коров, на крестьян, медленно делающих одну и ту же работу – изо дня в день в течение всей жизни, – на вечно заснеженные горы и ломкий столб дыма, поднимающегося над вулканом, и чувствовал себя словно в плену.

Пока Эстебан пребывал в деревне, жизнь «великолепного дома на углу» менялась – женщины приспосабливались к тихому существованию без мужчины. По давней сохранившейся

привычке рано вставать Ферула просыпалась первой, но невестке позволяла спать допоздна. Она приносила Кларе завтрак в постель, раздвигала шелковые занавески, чтобы солнце вошло в спальню, наполняла фарфоровую ванну, расписанную водяными лилиями, а у Клары было достаточно времени стряхнуть с себя тяжелый сон, поздороваться по очереди со всеми витающими вокруг духами, взять поднос и окунуть гренки в густой шоколад. Затем Ферула помогала ей спуститься с кровати, осыпала материнскими ласками, пересказывала приятные известия из газет. Их с каждым днем становилось все меньше, и Ферула сплетничала о соседях, рассказывала о домашних мелочах, придумывала что-либо забавное – Клара все находила очень милым, но через пять минут она уже ничего не помнила, так что можно было рассказывать о том же самом несколько раз подряд, и Клара снова смеялась, как если бы слышала это все впервые.

Ферула выводила ее гулять, чтобы она побывала на воздухе, да и младенцу это полезно; предлагала заняться покупками – «чтобы, когда он родится, у него все было, а белье надо покупать самое тонкое»; предлагала пообедать в гольф-клубе – «чтобы все видели, как ты похорошела с тех пор, как вышла замуж за моего брата»; навестить родителей – «чтобы не думали, что ты их забыла»; театр – «чтобы не сидела весь день дома взаперти». Делать с собой все что угодно Клара позволяла с деликатностью, которая была вызвана не глупостью, а лишь отчужденностью от мира; в эти дни она постоянно пыталась телепатически связаться с Эстебаном, хотя и безрезультатно, а к тому же старалась улучшить дар ясновидения.

Ферула впервые в жизни чувствовала себя счастливой. Она была близка с Кларой так, как никогда ни с кем, даже со своей матерью. Женщине менее своеобразной, чем Клара, в конце концов надоело бы чрезмерное баловство и постоянные заботы золовки, или она полностью подчинилась бы педантичному и властному характеру Ферулы. Но Клара просто жила в другом мире. Ферула ненавидела, когда ее брат время от времени возвращался из провинции и вваливался к ним, – он нарушал установившуюся за время его отсутствия гармонию в доме. При Эстебана она должна была уходить в тень и всегда держаться настороже – как в обращении с прислугой, так и в проявлении внимания к Кларе. Каждую ночь, когда супруги уходили спать, она чувствовала, как ее наполняет неведомая прежде ненависть, которую она не могла никак объяснить и которая разъедала душу. Чтобы избавиться от этого, она снова стала читать молитвы в домах бедняков и исповедоваться падре Антонио.

– Слава Пресвятой Деве!

– Зачавшей без греха.

– Я слушаю тебя, дочь моя.

– Падре, не знаю, как и начать. Думаю, я совершила грех...

– Плотский?

– О нет! Плоть молчит, падре, но дух вопиет. Меня терзает дьявол.

– Милость Божия бесконечна.

– Но, падре, вы не знаете, какие мысли могут приходить в голову одинокой женщине, девственнице, ведь я не знала мужчины, не из-за нежелания своего, а потому что Бог уготовал моей матери долгую болезнь, а я должна была ухаживать за ней.

– Эта жертва тебе зачтется на Небесах, дочь моя.

– Даже если являются грешные мысли, отец?

– Ну, все зависит от того, что за мысли...

– По ночам я не могу спать. Чтобы успокоиться, я встаю и иду в сад, брожу по дому, иду к комнате своей невестки, прикладываю ухо к двери, иногда на цыпочках вхожу в спальню, подхожу к ней – она кажется ангелом, когда спит, и мне хочется улечься к ней в кровать и почувствовать тепло ее тела и ее дыхания.

– Молись, дочь. Молитва помогает.

– Подождите, я не сказала вам всего. Я стыжусь сказать.

– Ты не должна стыдиться меня, я ведь – орудие Божие.

– Когда брат приезжает из деревни, мне становится хуже, много хуже, отец. Молитва уже не помогает, я не могу спать, покрываюсь испариной, дрожу, наконец встаю и хожу по дому впотьмах, ступаю осторожно, чтобы не скрипнул пол. Я слышу их голоса из-за двери их спальни, и однажды я увидела их, так как дверь была полуоткрыта. Я не могу рассказать о том, что увидела, падре, но это тяжкий грех. И Клара ни в чем не виновата, она невинна, как дитя. Мой брат толкает ее на это. Он, он обрекает себя на вечные муки.

– Только Бог может судить и обречь, дочь моя. Что же делали они?

И Ферула в течение получаса рассказывала все в деталях. Она была отличной рассказчицей, умела держать паузу, меняла интонацию, объясняла, не помогая себе жестами, так описывала пережитое, что слушающий сам начинал видеть все словно воочию. Просто невыносимо, как это при полуоткрытой двери она могла почувствовать содрогания тел в постели, слышать слова, сказанные шепотом на ухо, почуять запахи плоти, – просто чудо, что правда, то правда. Бурно излив душу, Ферула возвращалась домой с непроницаемой маской идола, строгая и невозмутимая. Снова отдавала приказание прислуге, считала приборы, распоряжалась обедами, гремела ключами. Требовала: положите это здесь – и ее приказание исполняли немедленно, поставьте свежие цветы в вазы – их тут же ставили, вымойте стекла, пусть замолчат эти чертовы птицы, этот гам не дает спать сеньоре Кларе, от кудахтанья перепугается младенец и родится больным. Ничто не ускользало от ее неусыпного взгляда, она всегда была занята делом, – в отличие от Клары, которая все находила очень милым, и ей было все равно, что съесть, фаршированные трюфели или остатки супа, спать в постели или сидя на стуле, купаться в душистой воде или совсем не мыться. По мере того как подходила к концу ее беременность, Клара, казалось, все более отдалялась от реального мира, в тайном и непрерывном диалоге с младенцем все более уходила в себя.

Эстебан хотел, чтобы родился сын, он продолжил бы род Труэба.

Но в первый же день своей беременности Клара сказала, что это девочка и зовут ее Бланка. Так и оказалось.

Доктор Куэвас, которого Клара в конце концов перестала бояться, подсчитал, что роды должны произойти в середине октября, но еще и в начале ноября Клара в сомнамбулическом состоянии ходила с огромным животом, все более рассеянная и усталая, измученная астмой, безразличная ко всему, что ее окружало, – в том числе и к мужу, которого иногда даже не узнавала и, когда видела, спрашивала: «Что вам угодно?» Доктор исключал возможность какой-либо ошибки в своих подсчетах, и, поняв, что Клара не намерена рожать как все, он прибегнул к кесареву сечению и извлек Бланку на свет божий. Девочка оказалась более волосатой и безобразной, чем обычно бывают младенцы. Эстебана зазнобило, когда он увидел дочь, – судьба посмеялась над ним и вместо сына-наследника, которого он пообещал матери перед смертью, он породил чудовище и, в довершение ко всему, женского пола. Эстебан сам обследовал девочку и убедился, что все на своем месте, но все-таки многое в новорожденной выглядело непривычным. Доктор Куэвас стал объяснять, что малышка такой родилась оттого, что провела в утробе матери больше времени, чем полагается, оттого, что пришлось прибегнуть к кесареву сечению, и оттого, что такое уж строение у этой маленькой, худенькой, смуглой и волосатой девочки. Зато Клара своей дочерью была очарована. Казалось, она проснулась от спячки и радовалась тому, что, родив, осталась живой. Она взяла девочку на руки и больше не выпускала: ходила с ней, прижав к груди, постоянно кормила ее грудью, не соблюдая никакого режима, забыв о хороших манерах и стыдливости, словно какая-нибудь индианка. Она не захотела завернуть ее в пеленки, остричь волосы, проделать дырочки в мочках ушей, нанять няньку, а уж тем более не собиралась кормить ее молоком, сделанным в какой-нибудь лаборатории, – так, как поступали все богатые сеньоры. Не вняла она и совету Нянюшки: давать ребенку разбавленное рисовым отваром коровье молоко, она считала, что, если бы природа пожелала вскармливать детей таким молоком, она позаботилась бы сделать так, чтобы в мате-

ринской груди находилось именно оно. Клара все время разговаривала с девочкой, она не пользовалась ни уменьшительными суффиксами, ни так называемым детским языком, говорила на правильном испанском, как если бы разговаривала со взрослой, – так же спокойно и разумно, как говорила с животными и растениями. Она была уверена, что если те понимали ее, то нечего опасаться, будто ее не поймет дочь. Благодаря материнскому молоку и постоянным разговорам, Бланка превратилась в здоровую и почти красивую девочку. Вскоре она совсем не походила на то чудище, каким казалась при рождении.

Спустя несколько недель после появления Бланки, вновь начав шалости на паруснике в тихих водах синего шелка, Эстебан Труэба убедился, что его супруга, родив, ни на йоту не утратила своего очарования и расположения к утехам, скорее наоборот. А у Ферулы, занятой заботами о девочке, обладавшей здоровущими легкими, импульсивным характером и ненасытным аппетитом, уже совсем не оставалось времени ходить молиться в обитель, исповедоваться падре Антонио и тем более шпионить у полуоткрытой двери.

Глава 4

Время духов

В возрасте, когда большинство детей еще пребывает в пеленках или ползает на четвереньках, бормоча несурезности и пуская слюни, Бланка напоминала разумного лилипута, ходила, хоть и спотыкаясь, но на своих ногах, говорила правильно и ела самостоятельно, ведь мать с самого начала обращалась с ней как со взрослой. У нее уже были все зубы, ей нравилось открывать шкафы, переворачивая в них все вверх дном, когда семья решила провести лето в имении Лас-Трес-Мариас, о котором Клара пока только слышала. В начальную пору жизни любопытство Бланки было сильнее ее инстинкта самосохранения, и Ферула глаз с нее не спускала: не дай бог, упадет со второго этажа, или заберется в печь, или проглотит мыло. Мысль поехать в деревню с девочкой казалась ей опасной, нелепой, бессмысленной, так как Эстебан мог все устроить в Лас-Трес-Мариасе сам, а они бы могли наслаждаться плодами цивилизации в столице. Но Клара была в восторге от предстоящей поездки. Деревня представлялась ей романтической, ведь она, как говорила Ферула, никогда не была в хлеву. Семья готовилась к путешествию две недели, даже более; дом наполнился ящиками, корзинами, чемоданами. Они закупили в поезде целый вагон. Ехали с огромным багажом и прислугой, которую Ферула посчитала нужным взять с собой, а кроме того, с клетками, потому что Клара не хотела оставить птиц, с ящиками для Бланки, полными механических клоунов, керамических фигурок, тряпчных животных, балерин на веревочках и говорящих кукол, – куклы путешествовали со своими собственными нарядами, своими экипажами и посудой. Наблюдая всю эту беспорядочную, нервную кутерьму, Эстебан впервые в жизни почувствовал себя обескураженным, особенно когда среди багажа увидел фигуру святого Антония в натуральную величину, косоглазого, в сандалиях из тисненой кожи. Он смотрел на хаос, окружавший его, и раскаивался в своем решении ехать в деревню с женой и дочерью; он всегда ездил с двумя чемоданами и не понимал, зачем нужно везти столько всякой всячины и столько слуг, которые даже понятия не имеют о цели путешествия.

В Сан-Лукасе они наняли три повозки и наконец, покрытые облаком пыли, напоминая цыганский табор, приехали в Лас-Трес-Мариас. В патио родового дома их с пожеланиями «добро пожаловать» ждали все крестьяне во главе с управляющим Педро Сегундо Гарсиа. Увидев поистине бродячий цирк, крестьяне остолбенели. Ферула взяла бразды правления в свои руки, и они стали разгружать повозки и вносить вещи в дом. Никто не обратил внимания на мальчика примерно того же возраста, что и Бланка, голого, сопливого, со вздувшимся животом и выразительными черными глазами, он смотрел так, как смотрят старики. Это был сын управляющего и звали его – в отличие от отца и деда – Педро Терсеро Гарсиа. Оставшись без присмотра в суматохе, когда нужно было разместиться, познакомиться с домом, обойти благоухающий сад, поздороваться со всеми, водрузить на алтарь святого Антония, спугнуть кур из-под кроватей, а мышей – из шкафов, Бланка разделась догола и стала бегать вместе с Педро Терсеро. Они играли среди тюков, лазали под столы и стулья, облизывали друг друга поцелуями, жевали один и тот же кусок хлеба, облизывали сопли, вымазались кашками и, наконец, уснули, обнявшись, под обеденным столом. Там в десять часов вечера их и нашла Клара. Уже несколько часов их искали с факелами, крестьяне прочесали берег реки, обыскали амбары, фермы и конюшни, Ферула молилась святому Антонию, Эстебан, зовя их, потерял голос, и сама Клара напрасно взывала к своим способностям провидицы. Когда их нашли, мальчик лежал спиной на полу, а Бланка уткнулась головой в раздутый живот своего нового друга. В том же положении их найдут много лет спустя, к несчастью для обоих, – всю жизнь им придется плачеваться за свою неосторожность.

С первого же дня Клара поняла, что ее место именно в Лас-Трес-Мариасе и, как она записала в своих дневниках, почувствовала, что наконец нашла свое предназначение в этом мире. На нее не произвели никакого впечатления ни кирпичные дома имения, ни школа, ни обилие съестных припасов, но ее способность видеть невидимое помогла мгновенно ощутить недоверие, страх и злобу работников, различить голоса, что стихали, когда крестьяне замечали ее; все это позволило ей разгадать иные черты характера и узнать прошлое своего мужа. Тем не менее хозяин переменился. Все видели, что он перестал ходить в «Фаролито Рохо», покончил с ночными кутежами, с петушиными боями, спорами, перестал по малейшему поводу впадать в ярость, а главное – охотиться в полях на девушек. Все эти перемены приписывали влиянию Клары. Со своей стороны, она тоже изменилась. Она избавилась от обычной вялости, перестала находить все милым и, казалось, излечилась от порока разговаривать с невидимыми существами и передвигать предметы. Вставала на заре вместе с мужем, завтракали они вместе, затем он отправлялся наблюдать за полевыми работами. Ферула занималась домом, прислугой, привезенной из столицы и не привыкшей к неудобствам и мухам, а также Бланкой. Клара делила с Ферулой заботы по швейной мастерской, магазинчику и школе – там она основала свою штаб-квартиру, где пропагандировала применение новейших средств против чесотки и блох, вникала в тайны букваря, обучала детей песенке «У меня есть дойная коровушка», женщин – кипятить молоко, лечить понос и отбеливать белье. В сумерки, до возвращения мужчин с полей, Ферула собирала крестьянских жен и детей на молитву. Они приходили скорее из уважения к ней, чем из-за веры; в такие минуты старая дева вспоминала о том времени, когда она ходила к бедным. Клара ждала, когда ее золовка кончит «Отче наш» и «Аве Мария», и тогда вдалбливала в головы женщин лозунги, что слышала от матери, когда та приковывала себя цепями к железной изгороди конгресса. Женщины слушали ее улыбаясь и стыдливо по той же причине, по какой молились с Ферулой: чтобы не огорчить хозяйку. Но страстные речи Клары казались им бредом сумасшедшей. «Никто никогда не видел ни одного мужчину, который не бил бы свою жену; если он ее не лупит, значит не любит и не настоящий он мужчина; где это видано, чтобы заработанное мужчиной или то, что дает земля или несут куры, принадлежало бы и мужу и жене, ведь он же глава всему; где это видано, чтобы женщина могла делать то же, что и мужчина, если ей на роду написано другое, донья Кларита», – твердили они. Клара приходила в отчаяние. Крестьянки подталкивали друг друга локтями и робко улыбались беззубыми ртами и глазами, их лица были в морщинах от солнца и тяжелой работы. Они заранее знали, что если у них возникнет дикая мысль послушаться советов хозяйки, то мужья зададут им хорошую трепку. «И заслуженно, конечно», – соглашаясь с ними, говорила Ферула. Вскоре Эстебан узнал, чем заканчиваются молитвы, и рассвирепел. Впервые он рассердился на Клару, и впервые она видела мужа в приступе бешенства. Эстебан вопил как безумный, носился по залу и бил кулаками по мебели, кричал, что если Клара собирается идти по стопам своей матери, то найдется такой мужчина, который сумеет отбить у нее охоту произносить речи перед крестьянами, что он категорически запрещает любые собрания и что он – не марионетка, которого жена может выставить на посмеище. Клара позволила ему орать и стучать кулаками, пока ей это не наскучило, а потом, в рассеянности, в какой часто пребывала прежде, спросила, не мог бы он не кричать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.